МЕМУАРЫ ПОД ГРИФОМ
<СЕКРЕТНО>

НИКОЛАЙ ХОХЛОВ

ЛИКВИДАТОР С ЛУБЯНКИ

ВЫПОЛНЯЯ ПРИКАЗЫ ПАВЛА СУДОПЛАТОВА

Мемуары под грифом «секретно»

Николай Хохлов

Ликвидатор с Лубянки. Выполняя приказы Павла Судоплатова

«Алисторус»
2017

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Хохлов Н. Е.

Ликвидатор с Лубянки. Выполняя приказы Павла Судоплатова / Н. Е. Хохлов — «Алисторус», 2017 — (Мемуары под грифом «секретно»)

ISBN 978-5-906842-48-0

Окончивший школу летом 1940 года Николай Хохлов мечтал быть актером и «делать кино». И начал двигаться по пути достижения этой цели. Спустя год его жизнь радикально изменилась. Он продолжал лицедействовать, изображая врагов советской власти, немецких офицеров и иностранцев. Вот только малейшая ошибка могла стоить ему жизни. А режиссировал он не кинокартины или спектакли, а убийства врагов СССР, принимая активное участие в своих «постановках»…В сентябре 1941 года он был завербован сотрудниками 2-го отдела НКВД, возглавляемого Павлом Судоплатовым, и стал одним из ликвидаторов с Лубянки. А в 1954 году Николай Хохлов сбежал на Запад. В СССР заочно был приговорен к расстрелу. В своих мемуарах он подробно и откровенно рассказал о своей службе в НКВД-МГБ-КГБ и почему принял решение уйти со сцены театра «тайной войны», где он был «звездой».

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906842-48-0

© Хохлов Н. Е., 2017
© Алисторус, 2017

Содержание

Часть первая 7
Глава 1 7
Глава 2 24
Глава 3 38
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Николай Евгеньевич Хохлов
Ликвидатор с Лубянки. Выполняя приказы Павла Судоплатова

© Хохлов Н., 2017
© ООО «ТД Алгоритм», 2017

* * *

Дорогой друг!

Эта книга написана для тебя.

Ты и я родились и выросли в одной и той же стране. Сегодня нас разделяют тысячи километров и десятки границ.

Зимой 1954 года мне пришлось принять необычное решение. На чашах весов оказались три человеческие жизни против двух человеческих совестей. О решении я не жалею. Оно могло быть только одним. Но дальнейшие события развернулись иначе, чем я ожидал, – моя семья попала в концлагерь, а я – в далекую и чужую страну.

После всего этого мне показалось, что надеяться не на что и писать книгу о случившемся незачем. Пока я не вспомнил, что в моей судьбе могла, как в капле воды, отразиться и твоя. Что ты в любой момент можешь подойти к такому же перекрестку.

Тогда и была написана эта книга.

Может быть, она поможет понять истинное соотношение человеческих ценностей в нашем мире тем, кто еще пытается остаться в стороне.

Может быть, горькая правда, которую я узнал столь дорогой ценой, подскажет тебе нужный путь.

В твоих руках ключ к судьбе нашего народа. От судьбы нашего народа зависит свобода и жизнь всего человечества.

Я верю, что ты выберешь и решишь правильно. Верю, что в дни отчаяния, охватившего миллионы людей, ты сумеешь сохранить силу воли и верность голосу совести.

Я знаю, что именно тебе наша Родина будет обязана грядущим освобождением.

Тебе – сегодняшнему гражданину Союза Советских Социалистических Республик.

Автор.

> *«…Вы, наши владыки, более рабы, чем мы. Вы порабощены духовно, мы – только физически. Вы не можете отказаться от гнета предубеждений и привычек гнета, который духовно умертвил вас; нам ничто не мешает быть внутренне свободными; яды, которыми вы отравляете нас, слабее тех противоядий, которые вы, не желая, вливаете в наше сознание. Оно растет, оно развивается безостановочно, все быстрее оно разгорается и увлекает за собой все лучшее, все духовно здоровое даже из вашей среды. Посмотрите: у вас уже нет людей, которые могли бы идейно бороться за вашу власть, вы уже израсходовали все аргументы, способные оградить вас от напора исторической справедливости, вы не можете создать ничего нового в области идей, вы духовно бесплодны. Наши идеи растут, они все ярче разгораются, они охватывают народные массы, организуя их для борьбы за свободу».*
>
> ***М. Горький. «Мать».***

Часть первая
Именем Советского Союза

Глава 1

В сентябре 1941 года я вернулся в Москву.

За два месяца, что я его не видел, город посуровел и подтянулся. Окраинную улицу, где помещался мой батальон, перегородили ежи из старых рельс, кое-как сваренных в ржавые колючки. Рядом со школьным двором желтели кучи песка из недавно вырытой противотанковой щели.

На заборе с плаката, еще мокрого от клея, солдат-панфиловец в развевающейся шинели поднимал останавливающим жестом высоко вверх винтовку: «Отступать некуда – за нами Москва!»

Школьный двор был почти пуст. В дальнем углу несколько бойцов с походными скатками через плечо грузили в трехтонку зеленые деревянные ящики.

Часовой у бывшей раздевалки, заставленной стойками с оружием, показал мне на дверь с табличкой «Учительская». Я постучал.

– Войдите… – ответил знакомый голос комиссара.

Он стоял у длинного черного стола, склонившись над ворохом бумаг. Я одернул свою потрепанную летнюю гимнастерку и отрапортовал:

– Боец Хохлов вернулся из командировки.

Комиссар поднял глаза и одобрительно кивнул:

– Ага… Значит, получили нашу телеграмму. Садитесь. Ну, как киносъемки прошли?

– Ничего. Нормально. Несколько моих эпизодов, правда, не успели доснять, но это неважно. Я очень рад, что вернулся. Неудобно как-то. Все воюют, а я в картине снимаюсь.

– Ну, это не совсем так. Когда мы вас отпускали, мы знали, что делаем. Кинокартина тоже важная вещь. Но обстановка изменилась. Сегодня вы нужны здесь, в Москве.

От волнения я даже встал со стула.

– Я видел на ребятах уже фронтовую зимнюю форму. Значит, на фронт, товарищ комиссар?

– Да, мы уходим на фронт. Но вы зимнего обмундирования не получите. Наоборот, вам, наверное, вообще придется снять военную форму…

Я растерянно молчал. Комиссар подавил мелькнувшую улыбку и стал перелистывать настольный календарь.

– Вот что, Хохлов. Идите-ка вы домой; отдохните с дороги, а завтра с утра позвоните по этому телефону. Записывайте…

Он прижал острие синего карандаша к листочку.

– К-6-42-15. Записали? Звоните лучше из автомата где-нибудь в городе.

Тщательно зачеркивая номер на календаре жирными штрихами, он продолжал:

– Это пока всё. Остальное вам объяснят в свое время. Могу добавить, что волноваться нечего. Вас, по-моему, ждут дела, где вы будете не менее полезны Родине, чем на фронте. Желаю успеха. Можете идти. До свиданья.

Последние слова прозвучали совсем «по-граждански».

На следующий день из телефона-автомата в соседней булочной я позвонил по таинственному номеру.

Низкий, как бы простуженный голос ответил не спеша:

– Комаров слушает.

Я запнулся на секунду.

– Мне сказали позвонить по этому номеру…

В голосе Комарова послышалась усмешка.

– Кто говорит?

– Хохлов, Николай Хохлов.

– Где вы живете?

– Борисоглебский, двенадцать, квартира тридцать один.

– Хорошо. Будьте дома – к вам зайдут.

Комаров не заставил себя долго ждать.

Раздался короткий, уверенный звонок. Открыв дверь, я увидел на пороге плотного молодого человека в темно-синем костюме. На его бледном лице черные тонкие усики казались прилепленными и неуместными.

– Товарищ Хохлов? Здравствуйте. Нет, нет, не через порог.

Он поспешно шагнул в переднюю и только тогда протянул руку:

– Комаров…

Присев на край сундука, он начал спрашивать быстро и вполголоса:

– У вас время есть? Поедемте со мной. Нам нужно поговорить. Удобнее у нас…

– У кого у нас? Мне дали только номер телефона…

Комаров замялся и оглянулся на дверь в столовую.

– Вы один? Нет, все равно, лучше поедем к нам. Вообще-то я сотрудник специальной службы, но ничего не говорите пока даже вашей семье.

Я пожал плечами, сказал, полуоткрыв дверь в столовую: «Мам, я скоро вернусь», – и мы с Комаровым спустились во двор. Там стояла черная потертая «Эмка».

Хмурый шофер с деревянным лицом и изрытым оспинами подбородком скользнул по мне равнодушным взглядом, потянулся через мое плечо и рывком прихлопнул дверцу поплотнее.

Машина вывернула на улицу Воровского.

Около Арбатской площади я решился нарушить молчание:

– Куда же мы, собственно, едем, товарищ Комаров?

Комаров неопределенно улыбнулся и сказал, смотря в пространство перед собой:

– Вообще-то в здание НКВД на Дзержинской. Наша служба там помещается.

Он замолчал на секунду и тут же, почти поспешно, добавил:

– Мы находимся в одном здании с наркоматом внутренних дел из-за секретности нашей работы. А вообще поговорим, когда приедем.

Комаров показал взглядом на шофера. Мне стало как-то не по себе.

– НКВД… – замелькали мысли. – В чем дело?

Арестовывать меня вроде не за что. И потом, слова комиссара об особых делах… Хотят завербовать осведомителем? Почему именно меня? И разве для таких вещей снимают с фронта? Нет, здесь что-нибудь другое… Какая-то секретная служба. Только почему в одном здании с НКВД?

Машина остановилась и качнулась назад на крутом подъеме Кузнецкого Моста. Комаров вытащил из нагрудного кармана красную книжечку с заложенным в нее желтым листком, бойко выскочил на тротуар и кивнул мне: «Пошли».

Перед нами, на другой стороне треугольной площади, высилось серое восьмиэтажное здание. Одна сторона его, закругленная и усеянная тройными окнами, нависла над широким проездом, заставленным автомашинами.

Мощные плиты черного мрамора тянулись вдоль основания и окаймляли высокие подъезды. Мы остановились у одного из них, с высеченной наверху цифрой три. Комаров потянул с трудом за медную ручку и пропустил меня вперед.

В ярко освещенном просторном вестибюле сверкнуло искоркой острие штыка с винтовки, намертво перехваченной рукой часового. Старшина с петлицами войск НКВД долго рассматривал красную книжечку Комарова и желтый пропуск, поглядывая то на меня, то на моего спутника испытующим взором. Потом вернул документы, козырнул Комарову и махнул рукой вглубь вестибюля: «Проходите, товарищи».

Мы втиснулись в маленькую кабину лифта и понеслись вверх вместе с безмолвной группой людей, опустивших глаза, как бы не решавшихся рассматривать друг друга. Не стал их рассматривать и я.

Лифтерша в сером вязаном платке на голове, в черном халате и валенках объявила негромко: «Седьмой».

Мы пошли по зеленому, изогнутому дугой коридору, с молочными иллюминаторами ламп на стенах, мимо дубовых дверей с металлическими цифрами.

Комаров остановился и толкнул дверь с номером 740.

– Заходите, Николай.

Небольшая, очень светлая комната. У длинного трехстворчатого окна, за двойным письменным столом сидел незнакомый молодой человек с остреньким личиком. Комаров подошел к стальному шкафу. Порывшись в карманах, вынул связку ключей. Массивная дверь бесшумно открылась. Комаров достал пачку бумаг и положил их на стол.

– Садитесь, Николай. Эти анкеты вам нужно заполнить. Вот ручка и чернила. Не спешите и не пропускайте ни одной графы.

Я был в первый раз в здании НКВД, но чувствовал инстинктивно, что задавать вопросы здесь, видимо, не полагается. Я молча придвинул к себе стопку анкет и обмакнул перо. Комаров запер сейф и ушел.

Анкеты большие, на нескольких страницах, и испещрены пронумерованными вопросами. Нет, не похож мой вызов в НКВД ни на арест, ни на допрос. Что-то подсказывает мне, что причина моего появления здесь иная. Может быть, действительно, хотят сделать из меня осведомителя. Об этом я тоже знаю смутно. Слухи о «сексотах» доходили до меня. Но мысль о какой-либо параллели между самим собой и осведомительством никогда не приходила мне в голову. Конечно, долг каждого комсомольца сообщать о происках врагов. Особенно о шпионах и диверсантах. Но профессиональное сек-сотство… В нем есть что-то отталкивающее, что-то по-особому нечистое… А как я буду отказываться? И может быть, все же не осведомительство? Вдруг они собираются сделать из меня сотрудника НКВД? Некоторые из моих школьных друзей отзывались о «чекистах» с восхищением. Я тоже видел кинокартину «Высокая награда», где Абрикосов в роли офицера госбезопасности умело и мужественно боролся со шпионами, похитителями секретных чертежей. В картине все, совершаемое НКВД, выглядело красиво и благородно. Но, конечно, повседневная работа офицеров НКВД какая-то другая, более прозаичная и, наверное, более грязная. Я же хорошо знаю, что беспощадная рука этого учреждения прошлась огнем и мечом по тысячам русских семей. Конечно, государство защищать надо. Но все же… Карьера сотрудника НКВД меня совсем не привлекает. Придется что-нибудь придумать и отказаться… Придумать, потому что я и сам не знаю точных причин моей неприязни и смутной тревоги, зарождающейся в душе…

Дверь открылась, и в комнату стремительно вошел высокий, полный брюнет в кожаном пальто. Он подошел ко мне крупными быстрыми шагами и, взглянув в упор, покровительственно улыбнулся. Я встал из-за стола. Незнакомец положил мне руку на плечо и заговорил звучным баритоном:

– Так, так… Молодость, патриотизм, решительность… Добавить немного специальных познаний, будет прекрасное сочетание… Как ваша жизнь, Николай?

Его темперамент, фамильярность и несколько театральная манера говорить удивила меня. Я открыл было рот, чтобы сказать, что, собственно, не знаю, с кем… но он уже похлопал меня по плечу:

– Понятно, понятно, Николай. Меня зовут Михаилом Борисовичем. Заполните бумажки, что вам подсунул товарищ Комаров, и приходите ко мне. Поговорим поподробнее… А бумажки, к сожалению, тоже нужны…

Он поворошил небрежным жестом пачку анкетных листков, окинул рассеянным взглядом стол, молодого человека у окна, смотревшего на него преданными глазами, бросил мне короткое: «Пишите, пишите…», – и, круто повернувшись, вышел. Тут я только увидел, что в комнату вернулся и Комаров. Он улыбнулся и занялся ключами от сейфа. Мне стало легче на душе, и я снова придвинул к себе стопку бумаг.

Легко сказать – не пропускайте ни одной графы. Анкет несколько, и вопросы повторяются. Лучше начать с первой попавшейся и двигаться по порядку.

Имя, отчество, фамилия: Хохлов, Николай Евгеньевич. Родился седьмого июня 1922 года в городе… Как же писать? По-новому или по-старому? Напишу по-новому… в городе Горьком. Социальное происхождение… Какое же у меня социальное происхождение? По отцу или по отчиму? Может быть, по матери? И дальше – о родителях. Кем были до революции, кем – после. Разве на нескольких строчках всё расскажешь? Тем более, что не так-то это просто. Отец, например, в моих ранних воспоминаниях не присутствовал. Только лет с десяти, переехав в Москву, я начал постепенно узнавать, как сложилась история моей семьи.

Отец родился под Москвой, в деревне Марьина Роща, в семье сапожника. Успел закончить всего четыре класса начальной школы и, проработав короткое время в типографии, был призван в армию. Попал в Преображенский полк солдатом. Полк одним из первых примкнул к революции, и в те же февральские дни отец вступил в партию большевиков. Я любил слушать рассказы отца, как его выбрали в петроградский Совет депутатом от полка, как он ночевал однажды в Смольном на диване, а напротив на кожаной кушетке спал Ленин, как партия послала отца в Горький для восстановления хозяйства, и о многом другом. Только о встрече с мамой он никогда не рассказывал. Брак Евгения Ивановича Хохлова и Анны Викторовны Михайловской оказался неудачным.

Мама выросла в бедноватой семье нижегородского чиновника. Окончив гимназию, собиралась было стать учительницей, но вместо этого вышла замуж. В восемнадцатом году мои родители поженились, в девятнадцатом у них появилась дочь, в двадцать втором – сын, а в двадцать шестом – крупные разногласия. Отец оставил маме, по-джентльменски, квартиру, обстановку и сына, а дочь и пианино увез в Ростов. Они так никогда и не помирились. В моей жизни появился отчим.

По иронии судьбы его тоже звали Евгением Ивановичем, но на отца он не был похож, совсем. У него было блестящее образование – Варшавский университет, оконченный с отличием, безукоризненное воспитание и звание адвоката.

Ко мне он относился, как к родному сыну, но моя любовь и уважение стали скоро принадлежать только отцу.

В начале тридцатых годов и отчим, и отец переехали в Москву.

Моя жизнь окончательно раскололась на два дома и две семьи.

Отца я видел редко. Несмотря на это, мне казалось, что все самое важное, связанное с ним, я хорошо понимаю и чувствую. Более того, отец стал для меня постепенно живым подтверждением правильности и нужности советского государства.

Жизнь в семье отчима была налаженной и ровной. По приезде в Москву он стал членом Московской Коллегии Защитников и зарабатывал неплохо. Но мне, так же, как и многим другим ребятам, казалось, что важно не богатство или бедность людей, а то, во имя чего они живут.

Я понимал, что и отчим, и моя мама строили свою жизнь только в плане личных интересов. Я не осуждал их. Я просто думал, что правильнее жить иначе. Основным доказательством этому был мой отец.

Нельзя сказать, чтобы его жизнь в Москве была необычной или боевой. Отец занимал скромную должность заместителя начальника одного из трестов авиационной промышленности и тратил большую часть рабочего времени на охоту за сырьем для заводов. Но я чувствовал в нем какую-то особенную внутреннюю силу, целеустремленность, умение жить, служа не самому себе, а чему-то высокому и «настоящему». Мне не нужно было долго гадать, чтобы понять этот основной смысл жизни отца. Его прошлое говорило само за себя. Таким внутренним смыслом могло быть только служение партии, а через нее – Родине. Школа, книги, газеты, радио подтверждали мне, что я был прав, что нет большей чести для человека, чем посвятить свою жизнь построению лучшего, справедливого мира – мира коммунистического.

В 1938 году я вступил в комсомол.

Однако мое участие в комсомольской работе не пошло дальше «общественных нагрузок» в школе. Все большее место в моей жизни стал занимать интерес к театру и кино. Годам к семнадцати я окончательно решил, что попробую стать кинорежиссером. Случилось это, в основном, под влиянием отца.

Только став постарше, я сумел найти объяснение, почему отец толкал меня на путь служения искусству, а не непосредственно партии.

Мой отец обладал абсолютным музыкальным слухом, тонкой наблюдательностью, врожденным чувством красоты и гармонии. Но ему не удалось ни применить своих способностей, ни получить настоящей культуры. Для своих детей он хотел, очевидно, иной судьбы.

Он возил с собой из города в город пианино и находил учителей музыки для дочери. Мне он старался внушить интерес к театру, музыке, живописи, кино.

Особенных противоречий между этими стараниями отца и его революционным прошлым для меня не было. Я помнил слова Ленина, что искусство является сильнейшим средством воздействия на психологию масс, и знал, что будущее коммунизма зависит от битвы за человеческое сознание.

Я поступил в школьный театральный кружок. Потом попал в киностудию «Союздетфильм». Роли мои были маленькие, самые второстепенные, но пронзительный свет дуговых ламп и запах горького миндаля, пропитавший киностудию, запомнился мне на всю жизнь. Я стал мечтать о дне, когда смогу создавать кинокартины сам.

Параллельно с учебой в девятом классе я начал посещать театральную студию.

Мама не одобряла моих планов. Она хотела для меня какой-либо более надежной профессии – адвоката, инженера, преподавателя. Конфликт между ней и мной становился всё более острым и достиг высшей точки летом 1940 года. В то лето я закончил школу.

Может быть, по-своему мама и была права. Я получил «золотой аттестат», мог поступить без экзаменов в любое обычное высшее учебное заведение и за какие-нибудь четыре-пять лет стать инженером или научным работником.

Вместо этого я собирался подать заявление в институт кино, где нужно было держать экзамены по специальным предметам. Мама доказывала мне, что в такой институт попадают лишь люди, обладающие настоящим опытом работы в кино. Было слишком много шансов, что меня не примут.

Мамины доводы не подействовали. Я послал свои документы в Государственный Институт Кинематографии.

В августе меня вызвали для сдачи специальных экзаменов.

Но ни моя режиссерская разработка пьесы Погодина «Кремлевские куранты», ни моя попытка превратить в сценарий отрывок из «Хлеба» А. Толстого не произвели на приемную комиссию нужного впечатления. В списке, вывешенном через две недели на доске около деканата, я своей фамилии не нашел. Мамины пророчества оправдались.

У меня оставался выбор: или поступить поспешно в один из обычных вузов, или попытать свое счастье в киноинституте через год. Я выбрал второе. На этом наши с мамой отношения испортились окончательно. Для сохранения семейного спокойствия я переехал к отцу.

Я знал уже, что вступил на рискованный, ненадежный путь, не хотел быть никому обузой в моих упрямых попытках найти себя в искусстве и стремился как можно скорее стать независимым, даже от отца. Для меня это стало вопросом принципа, вопросом веры в самого себя. Помог мне случай.

Осенью 1940 года в Москве была открыта Студия эстрадного искусства. По замыслу Комитета по Делам Искусств, Студия должна была готовить за государственный счет артистов эстрады из молодых, неискушенных кадров. Программа звучала очень соблазнительно. Стипендия, бесплатные костюмы для сцены, выпускной концерт на лучшей эстрадной площадке Москвы, обеспеченный заработок через шесть месяцев учебы. Как раз то, что мне было нужно. Оставался вопрос – как туда попасть? Состязаться с легионом чтецов, декламаторов, профессиональных актеров было бессмысленно. Жонглировать или играть на пиле я не умел. Никакого голоса для пения у меня тоже не было. Но зато я мог свистеть. И я рискнул подать заявление. В октябре того же года Всесоюзная Студия Эстрадного искусства стала моим первым местом работы и принесла мне мой первый заработок.

Весной 1941 года я принял участие в выпускном концерте и стал затем разъезжать по Советскому Союзу с эстрадным номером художественного свиста. Ужас мамы был неописуем. Мы же с отцом были довольны. Работа на эстраде оставляла мне достаточно времени для киносъемок в студии и для подготовки по теории искусства. От военной службы я был освобожден по зрению. Нам казалось, что мои шансы на поступление в киноинститут становятся с каждым днем все более серьезными.

Но в июне началась война.

В первые же ее дни отец ушел добровольцем на фронт. Его поступок не удивил меня. Жизнь отца была неразрывно связана с коммунистической партией и советским правительством. Он пошел защищать то, за что боролся всю жизнь. Все казалось логичным и правильным. Я был уверен, что хорошо знаю и понимаю своего отца.

Гораздо меньше я ожидал от своего отчима, что он тоже пойдет добровольцем на фронт. Не только потому, что он носил очки еще более сильные, чем мои, и был по призванию совершенно штатским человеком. Просто мне всегда казалось, что отчим заботится в основном о благополучии своей семьи и о своем положении в Коллегии Защитников. Оказалось, что он думал и о Родине не меньше. В начале июля отчим ушел в народное ополчение. Мне оставалось только позавидовать ему. Мой возраст для народного ополчения не подходил.

Один за другим уезжали на фронт мои сверстники. Дезертиром я себя не чувствовал, но ощущение обидной неполноценности становилось все острее.

Как-то по дороге в киностудию я забрел в переулок недалеко от Садово-Каретного проезда. У ворот перед зданием школы стоял часовой в необычной форме: солдатской, но с треугольными голубыми петличками, – в форме истребительного батальона. Полувоенные части с таким грозным названием были организованы в крупных городах для борьбы с возможными вражескими десантами.

– А что, если попробовать? – мелькнула мысль.

Меня пропустили к комиссару. В тот же день я был зачислен бойцом Истребительного батальона Октябрьского района Москвы.

Через несколько недель вслед за мной в батальон пришло письмо из Комитета по делам Искусств. Киностудия просила отпустить бойца Хохлова на месяц для съемки в кинофильме «Как закалялась сталь». Особых причин возражать у командования не оказалось. Да и я сам уже успел убедиться, что, кроме охраны складов и дежурства на крышах, никаким особенным истреблением врагов батальон не занимался.

В первых числах августа я выехал в Ульяновск в составе съемочной группы режиссера Марка Донского.

Но, видимо, нашлись какие-то другие глаза, следившие за моей работой в Ульяновске и запланировавшие для меня иную карьеру.

В сентябре телеграммой я был отозван назад, в батальон.

Еще в Ульяновске до меня дошли слухи, что истребительные батальоны превращаются в регулярные фронтовые части. Чего я не мог предположить, это того, что возвращение в Москву приведет меня в комнату в здании НКВД.

Хотя последняя мысль к анкетным вопросам, наверное, никакого отношения не имела.

Ну, вот, пожалуй, и вся моя несложная жизнь до 28 сентября 1941 года.

Неотвеченных вопросов осталось уже немного:

Служил ли в Белой армии? Нет, не служил.

Состоял ли в антисоветских партиях? Нет, не состоял.

Есть ли родственники за границей… Родственники за границей…

Я протянул анкету Комарову.

– Не знаю, товарищ Комаров, что писать о родственниках за границей. По-моему, у меня таких нет. Но ручаться не могу. А вдруг есть?

Он засмеялся:

– Ничего, напишите, что нет. Подпишитесь на каждой анкете и пойдемте к Михаилу Борисовичу.

Чуть позже Комаров и я сидели в соседнем кабинете и наблюдали, как Михаил Борисович, склонившись над косо поставленным у окна столом, шуршал анкетами, быстро их просматривая.

Его широкий лоб уходил двумя острыми углами в редкие темные волосы. Седина на висках. Узкий, плотно сжатый рот. Крутой, упрямый подбородок.

Он поднял глаза и посмотрел на меня умным, пристальным взглядом.

– Ну, что ж. Перейдем, пожалуй, к разговору по существу. Мы – разведчики, Николай. Вы находитесь в одном из отделов военной разведки. Мы вызвали вас, чтобы поручить важное государственное задание. Если вы захотите, конечно. Мы работаем только на принципе добровольности…

Михаил Борисович встал, подошел к окну и побарабанил пальцами по стеклу, как бы давая мне время подумать.

Но обдумывать мне было, в сущности, нечего. Реальность оказалась такой, о которой в девятнадцать лет и в дни войны можно было лишь мечтать. Разведка! Это действительно может оказаться не менее нужным, чем фронт.

Наверное, Михаил Борисович прочитал все это на моем лице. Может быть, даже выражение моих глаз в тот момент стало похожим на преданный взгляд молодого человека из соседней комнаты, потому что, сев обратно за стол, Михаил Борисович заговорил уже тоном начальника с новоприобретенным сотрудником:

– Обстановка для Москвы складывается плохо, Николай. Город, видимо, придется отдать. На короткое время, конечно. Но все равно – если немцы войдут в Москву, они должны почувствовать себя здесь, как в осином гнезде.

Михаил Борисович помолчал, скрестил пальцы и нахмурил брови. Чувствовалось, однако, что ему нравился ореол значительности и ответственности вокруг затронутой темы. Он продолжал, как бы обдумывая каждое слово:

– Для этого в городе должны остаться боевые группы. Люди, готовые ради борьбы на всё. Но дело не в одной решительности драться. Войти в доверие к немцам не так-то уж просто. Мы подумали о небольших группах артистов эстрады. Немцы любят искусство, в особенности не очень серьезное. Они могли бы использовать такие коллективы для обслуживания своих фронтовых частей. Вы свистеть не разучились? Нет? Ну, и прекрасно. Мы включим вас в одну из таких групп. Если немцы возьмут Москву, они обязательно устроят парад Победы. И пусть устраивают… Может быть, даже Гитлер пожалует. Представьте себе большой концерт для фашистского командования. В зале немецкие генералы, правительственные чиновники, министры всякие… И вдруг – взрыв, один, другой… гранаты. Жив русский народ! Жив и сдаваться не собирается. Понимаете, что это значит?

Я понимал. Даже излишняя театральность тона Михаила Борисовича больше не резала мне уха.

Молчаливый Комаров, совсем утонув в кожаном кресле, упорно покручивал одной рукой телефонный шнур.

– Как ваш немецкий язык? – продолжал Михаил Борисович, усердно разыскивая что-то в пачке бумаг.

– Не ахти как. В школе учил, чуть-чуть дома. В общем, немного разговариваю…

– Внизу подколото, в самом низу, – бросил вполголоса Комаров Михаилу Борисовичу.

– Ага, вот она! – Михаил Борисович вытянул узенькую полоску бумаги и вернулся ко мне взглядом.

– Так что же? Решили?

– Какие уж там решения, Михаил Борисович. Говорите, с чего начинать.

Михаил Борисович протянул мне полоску.

– Начните вот с этого. Перепишите своим почерком.

Бледно отпечатанный на машинке, видимо, стандартный текст:

«…обязуюсь выполнять задания спецслужбы НКВД СССР по борьбе с немецкими захватчиками.

Все, что мне станет известным по ходу этой работы, буду хранить в полной тайне.

За нарушение настоящей подписки буду нести ответственность по всей строгости советских законов.

Подпись…»

– Подождите, – остановил меня Михаил Борисович. Выберите какой-нибудь псевдоним. Так полагается.

Вспомнились рассказы отца о наших дальних предках с Украины. Но «Больченко» длинновато. Я сократил и написал «Волин».

Подколов подписку обратно к бумагам, Михаил Борисович нажал кнопку на краю стола и сказал сразу и Комарову, и мне:

– Теперь поговорим о конкретной работе.

Почти сейчас же раздался стук в дверь, и в кабинет вошел человек небольшого роста, лет тридцати, курносый, с широким русским лицом, смеющимися глазами и лохматой головой.

Он не спеша подошел ко мне и переглянулся с Михаилом Борисовичем, как бы ожидая сигнала.

– Вы знакомы? – спросил Михаил Борисович голосом, в котором чувствовалась шутка.

– Конечно, Боже мой, Николай! – воскликнул вошедший. – Как дела? Ты что – в армии? Вот уж не ожидал такой встречи.

Последние слова прозвучали довольно неуверенно. «Значит, это он рекомендовал меня разведке», – подумал я.

– Итак, вы уже знакомы? – не то вопросительно, не то утвердительно повторил Михаил Борисович.

– Как же, как же, – отозвался я. – Знакомы. Здравствуй, Сергей. Что ты здесь делаешь?

Сергей усмехнулся и сел без приглашения.

– Вероятно, то же, что и ты. У нас теперь дела будут общие, как видно…

Наступило короткое, немного неловкое молчание.

Я разглядывал Сергея с откровенным любопытством и думал, что в самом-то деле мое знакомство с ним было до сих пор только поверхностным.

Примерно за год до начала войны и он, и я поступили во Всесоюзную Студию Эстрадного искусства. Оба попали в одну концертную бригаду, но особенной дружбы между нами не завязалось. Наверное, из-за разницы в возрасте. Я был новичком на эстраде. Сергей уже много лет работал профессиональным актером. За его плечами было трудное прошлое бывшего беспризорника, затем – музыканта в военном духовом оркестре, шофера-испытателя на автозаводе имени Сталина. Поговаривали, что в армии он вступил в партию. Образования Сергей не имел почти никакого, но, несмотря на это, выдержал экзамены в Театральный институт и, успешно закончив его, стал актером Театра Красной Армии.

Сергей Пальников обладал острым глазом артиста и большим чувством юмора. Поступив в эстрадную студию, он начал писать фельетоны на бытовые темы и сам читал их со сцены. В короткое время он создал себе известность на концертных площадках Советского Союза.

С началом войны партийная организация поручила ему, как видно, принять участие в артистическо-разведывательных планах НКВД СССР.

Михаил Борисович хитро переводил глаза с одного из нас на другого, явно довольный эффектно устроенной встречей. Потом остановился взглядом на мне.

– Ну, что ж, Николай. Сергей будет вашим старшим товарищем по группе. Он член партии, вы – комсомолец. Будете представлять коммунистическое ядро будущей эстрадной бригады. Партдокументы оставите у нас и свою партийность держите в секрете. В вашу группу мы наметили еще двоих. Двух девушек. Обе они беспартийные. Вы встречались с ними в эстрадной студии. Одна из них – певица Тася Игнатова – как говорят, ваша хорошая знакомая…

Я с укором посмотрел на Сергея, но тут же решил счетов не сводить и ответил, по возможности, безразлично.

– Да, я знаю ее по студии…

– Ну, и Нину-жонглершу вы тоже должны знать, – продолжал Михаил Борисович. – Не так ли? Коллектив, как видите, набирается интересный. За вашу работу на эстраде я не беспокоюсь, а вот по поводу других вещей давайте поговорим конкретно.

И мы начали разговаривать конкретно.

В начале октября месяца вместе с потоком «эвакуировавшихся» уехали в Ташкент моя мать и младшая сестра. В квартире отчима, по московским условиям большой и удобной, никого, кроме меня, не осталось. Единогласным мнением «коммунистического ядра» будущей эстрадно-боевой группы квартиру было решено превратить в штаб для нашей четверки.

Я уже вернулся работать в Эстрадно-концертное объединение, заявив во всеуслышание, что батальон послали на фронт, а меня как белобилетника вернули к гражданской деятельности.

Все вчетвером – Тася, Нина, Сергей и я – устроились в одну эстрадную бригаду и начали выезжать на концерты во фронтовые части. Днем выступали у самой линии фронта, а вечером успевали еще вернуться в Москву. Так близко подошел фронт к городу.

Но на концерты старались выезжать нечасто. Основное наше время было занято подготовкой для будущей партизанской работы в занятой немцами Москве.

Для большинства москвичей эти зловещие слова – «занятая немцами Москва» – прозвучали бы тогда еще невероятной, невозможной бессмыслицей. Но в высших правительственных кругах уже был отдан приказ – готовить город к эвакуации.

В проходных будках заводов появились первые списки сотрудников, отвечающих за вывоз оборудования. На вокзалах стали скапливаться тысячи людей, которым «по секрету» сообщили, что лучше выехать в тыл. Началось уничтожение документов и важных бумаг в министерствах и учреждениях. Даже в школах спешно сжигали архивы и списки учащихся. К середине октября паника начала медленно расползаться по городу. Слишком многие стали понимать, что судьба столицы висит на волоске.

Улицы по вечерам были безлюдны и мрачны. По главным магистралям, звонко стуча подковами сапог, бродили пары военных патрулей. В темных закоулках время от времени с неожиданно лиричным звоном рассыпались в куски витрины продовольственных магазинов, а иногда и ювелирных. Виновников редко ловили, а поймав – расстреливали, не церемонясь. Город был на осадном положении.

Многие покинули Москву в те дни. Но многие и остались. По самым разным причинам. Для четверых артистов Московской эстрады – Игнатовой, Мещеряковой, Пальникова и Хохлова – причина была простой – задание советской разведки.

Идейный автор «артистическо-разведывательной бригады» подполковник госбезопасности Михаил Борисович Маклярский решил в первую очередь снабдить нашу четверку следующими, по его мнению самыми необходимыми, вещами: запасом продуктов, как самой сильной валютой военного времени, и резервом советских денег на случай, если они не будут аннулированы.

И то, и другое – для оплаты агентуры, взяток чиновникам и прочих повседневных расходов разведработы.

Для выполнения же боевых заданий Михаил Борисович решил создать на нашей штабквартире склад оружия и боеприпасов.

В один из октябрьских дней Сергей и я появились на углу Кисельного переулка, наискосок от продуктовой базы НКВД СССР. Наше начальство старалось не вызывать нас в здание НКВД, чтобы мы не примелькались там или не были замечены кем-либо из непосвященных.

С противоположной стороны улицы медленно подошел Комаров, почти сгибаясь под тяжестью двух серых мешков, совсем не гармонировавших с элегантным синим пальто. Он сбросил мешки на тротуар, облегченно вздохнул, поправил сбившийся галстук, шепнул: «Несите так, чтобы не видели», – и исчез, оставив нас в некотором недоумении по поводу его совета.

Дома, собравшись вчетвером вокруг таинственных мешков, мы развязали первый и с удивлением увидели, как из него посыпалось несметное количество спичечных коробок, затем бульонных кубиков, так на полмешка, и десятки консервных банок одной и той же комбинации – свиного сала с фасолью. Сюрприз другого мешка был большим – копченое сало и кусковой сахар. Сахар, наколотый большими серыми обломками, лежал внизу. На него были набросаны пласты сала. Кристаллы соли осыпались вниз, сахарная пудра поднялась вверх и в результате, как долгое время потом шутил Сергей, нас торжественно наградили в октябрьские дни соленым сахаром и сладким салом. Но на самом-то деле для военного времени эти мешки были настоящим богатством. После короткого и бурного совещания богатство было сложено в мамин диван.

Затем Сергей принес туго перевязанные банковским шнурком пачки денег. Место для пачек было найдено легче – они разместились в шкафу между бельем.

Подошла очередь оружия и боеприпасов.

Все в тот же Кисельный переулок, но на этот раз под вечер, Комаров принес два фибровых чемодана. Оглянувшись по сторонам, он заговорил скороговоркой и вполголоса:

– Осторожнее. Чемоданы очень тяжелые. Идите боковыми улицами, старайтесь обходить патрули, чтобы вас не поймали с этим делом. Ночные пропуска с собой?

Мы отнесли чемоданы к себе на квартиру. В них оказались пистолеты, гранаты, кубики взрывчатки и пачки патронов.

Мы разместили «вооружение» в двух тумбочках, ставших сразу такими тяжелыми, что передвигать их можно было только с трудом.

В те же дни Комаров снабдил нас комплектами фальшивых паспортов на другие имена, воинскими «белыми билетами» и наборами продуктовых карточек.

Вид у Комарова был явно замученный. Мы понимали, что, кроме нашей четверки, ему, наверное, приходилось разносить такие же вещи и другим группам. Во всяком случае, он всегда куда-то спешил.

Но иметь склад оружия в квартире было мало. Нам предстояло еще научиться обращению с ним. На одну из встреч Комаров принес запечатанный пакет и, вручая его Сергею, подчеркнул ногтем номер на конверте.

– Доедете на электричке до платформы Северной и спросите вот эту воинскую часть.

В воинской части из начальства оказался только комиссар.

Небольшого роста, рябоватый, с рыжими, выцветшими бровями, он начал медленно, высоким голосом читать:

– Просим обучить обращению и стрельбе из личного оружия системы Наган… Так… Это можно… Полевого пистолета ТТ… Организуем и это… Иностранных марок: Зауер… Ошибочка.

Комиссар прервал чтение, многозначительно посмотрел на нас и сказал еще раз очень внушительно:

– Ошибочка. Грамотеи! Надо Маузер, а они Зауер. Ручка есь? Сейчас поправим. Вот тоже, придумали: Зауер. А такой и марки-то нет.

Я покосился на рукоятку пистолета в моем кармане и прочитал про себя четкую надпись: Зауер, Германия.

– Ну, ладно, – комиссар отбросил в сторону пакет. – Ближе к делу. С собой оружие какое есь?

Сергей вынул бельгийский пистолет.

– Вот, почистить хотели, да не знаем, как разобрать…

Я удивленно взглянул на него. Ведь только вчера вечером мы нашли секретную кнопку на затылке этого пистолета. Но тут же понял и промолчал.

– Это дело простое, – повертел комиссар в руке изящную машинку. – Мы его сейчас… – Он потянул за рукоятку, нажал на спуск, подергал ствол и вдруг громко крикнул: «Саш!».

Из-за двери выглянул Саша, худенький, с бледными веснушками на скучном лице.

– Дай-ка отвертку, – приказал комиссар и, подумав, добавил нерешительно, – и… молоток.

Учеба не состоялась. Мы сбежали по пути на стрельбище, как только получили обратно так и оставшийся неразобранным бельгийский пистолет.

Комаров долго хохотал, слушая наши жалобы, а потом, успокоившись, сказал:

– Ладно, дадим своего человека.

В день встречи со «своим человеком» шел проливной дождь. Сергей с ходу рванул дверцу автомашины, одиноко стоявшей на условленном месте, и, протискиваясь к сидению, спросил больше для формы:

– «Товарищ Комаров?»

– Н-е-е-т, – спокойно протянул незнакомый голос, – не Комаров.

В машине одиноко сидел шофер.

– Простите, – выскочил, как ошарашенный, из машины Сергей и, отойдя в сторону, поднял на всякий случай воротник пальто. Дождь не унимался.

Минут через десять шофер вылез из машины, обошел ее, не торопясь, постучал носком сапога по задней шине и, не оборачиваясь к Сергею, спросил его вполголоса:

– Может, все же сядете в машину-то?

Сергей уже прошел несколько уроков по конспирации, поэтому он подчеркнуто удивленно посмотрел на незнакомца, пожал плечами и сделал несколько демонстративных шагов в сторону.

– Ну, мокните, мокните, – пробасил шофер и залез обратно. Мокнуть Сергею пришлось довольно долго.

Наконец прибежал запыхавшийся Комаров и потянул Сергея к машине.

– Знакомьтесь, – кивнул он на шофера, – ваш инструктор.

– А мы вроде как уже познакомились, – отозвался инструктор из глубины машины. Из соседнего подъезда подошли и мы трое.

– Егор, – отрекомендовался инструктор и аккуратно подал каждому руку лопаточкой.

Поехали недалеко – в соседний переулок, где размещалась воинская часть. Спустились в подвал – длинный, узкий, но сухой и ярко освещенный.

Егор вынул из кармана маленький пистолет с изящной перламутровой ручкой, вставил обойму и протянул Нине.

– Стреляйте. Вон туда.

Он показал на белую мишень, пришпиленную к деревянному щиту в конце подвала.

Нина выстрелила несколько раз, и пистолет заело. Мы с Сергеем помчались к мишени. Пуль там не оказалось. Вдруг Нинин пистолет сам собой исправился, хлопнул выстрел, и пуля, пробив рукав Сергеева пиджака, шлепнулась в самый центр мишени. Мы переглянулись. Лица у всех были бледные. Но Егор улыбался.

– Осторожнее. Так убить можно… – прогудел он своим невозмутимым басом.

Так началась наша боевая тренировка. Уже после нескольких занятий мы привыкли к боевому оружию и правильному обращению с ним. Особенно доволен был Сергей.

Сначала нам показалось было обидным, что для подготовки столь важной группы, какой мы себя считали, выделили обычного шофера. Но потом мы быстро оценили простоту и опытность нашего инструктора. Сергей даже взял в привычку похлопывать Егора по плечу его неизменного синего комбинезона и приговаривать покровительственно:

– Ну, что ж, Егор, – поехали, популяем, что ли?

Однажды, придя на встречу, мы увидели, что машина завалена деревянными ящиками и мотками разноцветных шнуров.

– Рассаживайтесь, ребята, как можете, поедем за город, и там все это барахло нам понадобится, – махнул Егор рукой на ящики.

Выехали к окраине города, на Горьковское шоссе.

Патруль контрольно-пропускного пункта, в желтых овчинных полушубках, с новенькими автоматами и красным флажком в руках, остановил нас для проверки документов. Егор вытащил маленькую красную книжечку. Солдат взглянул в нее, вытянулся и отдал честь: «Проезжайте, товарищ полковник». Когда Егор засовывал книжечку обратно под полушубок, мы увидели в просвет распахнувшегося воротника четыре шпалы полковника. Я взглянул в округлившиеся глаза Сергея, и мне стало почему-то дико смешно. Кто же из нас мог тогда предположить, что шофер Егор был не кем иным, как начальником боевой подготовки Партизанского Управления, полковником госбезопасности, мастером парашютного спорта Пожаровым?

В тот солнечный и яркий осенний день мы отъехали от Москвы километров на тридцать. В прозрачном, уже холодном лесу белели два-три цементных домика.

Егор завел машину прямо в гущу леса и сказал:

– Ну, теперь тащите ящики в траншею, да осторожнее, там взрывчатка.

Мы перетаскали в узкую, кривую щель, вырытую между цепкими корнями сосен, тяжелые ящики с желтыми брусочками, похожими на хозяйственное мыло. Но это был тол – сильнейшее взрывчатое вещество.

Потом Егор показал нам, как отрезать наискось нужный кусок серого Бикфордова шнура, вставлять его в алюминиевую трубочку и зажимать зубами.

Мы узнали, что трубочка эта вставляется в отверстие, просверленное в головой шашке, и простейшая бомба готова. Мы наделали несколько зарядов, привязали их к деревьям, зажгли шнур плотно прижатой к нему спичечной головкой и с восторгом наблюдали, как после глухого, теплого взрывного толчка четыре сосновых бревна разлетелись на куски.

Мы познакомились с электрическими взрывателями и с подрывной машинкой с замедленными и мгновенными взрывными шнурами, с магнитными минами и с зарядами «сюрпризного» действия.

Потом Егор вытащил из чемоданчика зеленую гранату с длинной деревянной ручкой и сказал:

– Вон, танк стоит, видите?

Мы давно уже видели этот танк. Обгоревший и полуразбитый, он чернел у опушки леса на песчаной площадке, испещренной темными пятнами.

– До него надо добросить. А бросать будете так, – и объяснил.

Тася решительно дернула за маленький глиняный шарик, свисавший из конца ручки и, широко размахнувшись, бросила гранату прямо себе под ноги.

– В щель! – рявкнул Егор и, схватив девушек в охапку, швырнул их в траншею.

Все отделались только испугом.

Время от времени на штаб-квартиру приходил «дядя Петя», пожилой, тихий и скромный человек. Он обстоятельно объяснял нам, как по международным правилам следует надевать пальто и завязывать галстук, обращаться со столовыми приборами, составлять меню обедов и ужинов, рассаживать гостей, подавать к соответствующим блюдам соответствующие вина.

Он, наверное, был старым и опытным разведчиком, этот «дядя Петя». Много интересного рассказал он нам и о том, как работать в условиях подполья, как организовывать тайные встречи и приходить на них незамеченными, как проверять, нет ли за тобой слежки, как переносить незаметно оружие и взрывчатку и многое другое, что должно было помочь нам не только работать, но и выжить.

Настоящего имени «дяди Пети» мы никогда не узнали. Он исчез так же внезапно, как появился. Потом, много позже, Михаил Борисович обмолвился случайно, что наш инструктор хороших манер погиб где-то в глубоком немецком тылу при выполнении задания.

Так шли дни за днями, и мы все больше привыкали к своему положению полуартистов-полуразведчиков.

Повседневный быт нашей четверки тоже входил постепенно в налаженную колею.

Сначала нам было трудновато с продуктами. Мы крепились и маминого дивана не открывали. Но продуктовых карточек не хватало, и жить приходилось впроголодь. Потом нам надоели танталовы муки, и, по молчаливому сговору, на нашем столе стали появляться обеды, приправленные сладким салом, и чай с соленым сахаром. Мы были слишком голодны, чтобы дожидаться прихода немцев. Но мы были также и полураздеты. Зимние пальто девушек были холодными и поношенными, у нас с Сергеем не было никаких. Единогласным решением четырех голосов было постановлено, что в интересах самой работы мы должны приодеться потеплее и поприличнее. Так и случилось, что пачки денек были вытащены из шкафа, и вся четверка направилась в «закрытый универмаг» на Кузнецкий. В магазин допускались только «избранные», со специальными лимитными книжками, но наша неутомимая Нина – «хозяйственный мотор» группы – раздобыла такую книжку одной ей известными путями.

Наш «оперативный фонд» начал таять.

Зато мы оделись, обулись и по вечерам в теплой, уютной квартире, собираясь вокруг обеденного стола за стаканом солоноватого чая, были по-своему счастливы. Мы ставили в центр стола вазочку с пуговицами и отчаянно сражались на них в покер. Обсуждали наши успехи и неудачи, столкновения с домоуправом и результаты последней стрельбы, сплетничали о знакомых артистах и даже выдумывали анекдоты про наше начальство.

Вот только о будущем, ожидающем нас, мы говорили очень мало. Как-то было ясно и без разговоров, что мы останемся и будем выполнять задания любой ценой.

Странное, какое-то совершенно особое было тогда время. Не только для нас. Наверное, для всех русских людей. Изменилась система мышления, даже весь смысл жизни. Привычные ценности забылись, отошли на дальний план, а их место заняли новые, не всегда осознанные чувства и стремления.

Если бы кто-нибудь спросил нас тогда, почему мы согласились стать разведчиками, что именно толкнуло нас на такой далеко не безопасный шаг, вряд ли мы сумели бы ответить точно и вразумительно. Мы просто знали, что так надо. Так – правильно. Мы никогда не обсуждали вопроса, стоит ли защищать советскую власть, хороша ли она, и почему фашистов надо бить. Зачем? Мы были русскими людьми – этого было достаточно. Защищать мы собирались русскую землю и русскую столицу. Никакого другого места в этой войне мы для себя не видели.

Каждый из нас четверых подписал полоску бумаги с четырьмя буквами: НКВД.

Каждый из нас в довоенной жизни встречался со зловещим значением этого слова.

Тем не менее все мы хорошо знали, что не по отношению к НКВД взяли на себя обязательства. Конечно, покривил душой Комаров при первом разговоре со мной. Не по простому совпадению помещалась разведка в одном здании с НКВД. Мы постепенно узнали, что наши начальники были офицерами 4-го Партизанского Управления НКВД СССР. Но все равно в наших мыслях никогда не сочетались ни Егор, ни Комаров, ни Михаил Борисович, ни вся их служба, ставшая теперь хозяином нашей судьбы, с «карательным аппаратом пролетарского государства».

Мы жили тогда в каком-то почти праздничном сознании неповторимости происходящего.

Мы понимали, конечно, что за веселыми, забавными эпизодами боевой подготовки скрывается перспектива реальной борьбы с немцами в оккупированной Москве. Мы знали в глубине души, что ждало нас при первой ошибке. Но ведь другого, не менее честного пути не было. И мы потихоньку гордились, что никогда не говорили друг с другом о возможном исходе.

Все это было именно так, наверное, потому, что мы чувствовали, как думало в те дни большинство нашего народа. Потому, что миллионы были бы готовы занять наше место. Потому, что вместе с миллионами других русских людей мы поняли истинные цели нацистского нашествия, остро ощутили опасность, повисшую над Родиной и в первую очередь над Москвой.

Особенно ярко и горько почувствовали мы готовность правительства отдать Москву 15 октября. В этот день Маклярский вызвал нас к себе, в здание НКВД. Когда мы шли с Сергеем по коридору седьмого этажа, на этот раз полуосвещенному и мрачному, навстречу нам попадались один за другим спешащие, растерянные, изможденные сотрудники. В руках у них были ворохи бумаг. Архивы срочно уничтожались уже и в здании НКВД.

Мы постучались в дверь кабинета Михаила Борисовича. Он стоял за столом и что-то быстро писал, наклонившись над записной книжкой.

Михаил Борисович протянул было руку к креслу, приглашая садиться, как его перебил звонок телефона.

– Алло? – взял он трубку. – Да, да, знаю ее… Что, что? Т-а-а-к… И уже во всем призналась?

Он покосился на нас, секунду помолчал и затем медленно, подчеркивая каждое слово, сказал негромко в трубку.

– Ну, вот что… Немедленно арестовать и на рассвете расстрелять… Да, да… Рапорт пришлете потом.

И бросил трубку.

Мы переглянулись с Сергеем. Вот оно, как бывает… Михаил Борисович сел в кресло и начал говорить небрежным, но злым тоном:

– Раскололи тут девчонку одну. Успела уже связаться с немецкой разведкой. Ну, мы, конечно, немедленно узнали. У нас же там тоже свои люди есть. Зря поспешила…

Мы подавленно молчали. Откуда нам с Сергеем было тогда знать, что даже НКВД не расстреливает человека по простому приказанию начальника отдела.

– Ну, что же, – поднял Михаил Борисович на нас глаза. – Что я могу вам, ребята, сказать? Ничего хорошего… Москву оставляем… Немецкие танки на окраинах города. Держитесь и помните, что вы будете защищать… Не горячитесь. Ждите связи и указаний. Но и сами не плошайте. Запомните – жизнь ваша нужна. Если уж и отдавать ее, то вовремя и с толком…

Дверь открылась. Вошел Комаров и, поздоровавшись с нами, повернулся к Михаилу Борисовичу:

– Вас ждут, товарищ подполковник.

Михаил Борисович поднялся из-за стола, обошел его кругом и взял нас обоих за плечи:

– Ну, друзья, до свиданья. Помните все, чему мы вас учили. Увидимся в подполье.

Мы торжественно расцеловались и с Михаилом Борисовичем, и с Комаровым.

– Еще раз помните – ждите указаний. Постарайтесь сначала войти прочно в доверие к немцам… – говорил Михаил Борисович, медленно шагая с нами по коридору.

У поворота к лифту, оглянувшись, мы увидели сзади в коридоре, у двери с номером 736, Михаила Борисовича, задумчиво провожавшего нас взглядом.

Внизу, в вестибюле, нас особенно тщательно проверил часовой, и мы побрели на свою штаб-квартиру. Перспектива боевой работы придвинулась совсем вплотную.

Но русский народ не сдал Москвы. Конечно, все мы понимали, что потеря столицы не означала бы проигрыша войны. Мы говорили себе, что пока русский солдат не победит, война не закончится. Но все же в Москве было столько символического и дорогого каждому из нас…

В канун Нового года захлебнувшаяся русскою кровью нацистская армия была отброшена от Москвы. Нам не пришлось встретиться с Михаилом Борисовичем в подполье. Это было счастьем и для Москвы, и для нас – четырех артистов эстрады, наскоро приспособленных к разведке.

Уединенная жизнь в штаб-квартире, хотя и сдобренная салом и консервами, надоела нам довольно быстро. Мы не видели особенного зла в том, чтобы выйти немного в свет. Видно, уроки «дяди Пети» не предусмотрели всех случаев, когда конспирация необходима. Мы стали часто посещать ресторан Центрального Дома Работников Искусств, где еще можно было за коммерческие цены не только хорошо пообедать, но даже и прилично выпить. Держались мы, конечно, всегда вместе и вели себя в соответствии с вызубренными правилами конспирации. Наш таинственный и, в сущности, подозрительный вид был быстро подмечен острыми глазами завсегдатаев ресторана – московскими артистами и художниками. Друзья и знакомые, артисты эстрады все чаще и чаще заходили к нам на штаб-квартиру: посидеть в тепле, поиграть в покер на пуговицы и выпить стакан немного странного на вкус, но все же не по-военному вкусного чая.

Разговаривали о том, о сем, и только когда Нинин друг-саксофонист начинал подтрунивать над нашей таинственной дружбой вчетвером, Нина сурово обрывала его, добавляя неизменно значительным тоном: «Давай об этом не будем говорить…»

Но «об этом» узнавало все больше людей.

Уже в декабре Михаил Борисович решил принять от нас обратно «оперативный фонд». Когда оставшаяся сумма была подсчитана, он схватился за голову и спросил убитым голосом:

– Куда вы ухнули такую массу денег?

– Расходы по конспирации, Михаил Борисович, – почтительно ответили мы.

– По к-о-н-с-п-и-р-а-ц-и-и? – расхохотался Михаил Борисович. – Это вы-то – конспираторы? Да вся Москва знала, что вы связаны с разведкой! Ваше счастье, что немцы до Москвы не дошли. Болтались бы вы все четверо в первые же двадцать четыре часа на ближайшем фонаре.

Но группу нашу он пока не распустил. Видно, его служба все обдумывала, кого из нас и как можно использовать в изменившейся обстановке.

Наверное, именно для этого привез к нам однажды Михаил Борисович своего начальника.

– Познакомьтесь, товарищи, – это Павел Анатольевич!

Михаил Борисович почтительно посмотрел в сторону моложавого темноволосого человека среднего роста, с внимательным взглядом больших черных глаз из-под нависших мохнатых бровей.

Мы сразу почувствовали, что речь идет о высоком начальстве. Мы не разбирались в форме и званиях НКВД, но красный ромб на зеленых петличках его гимнастерки внушил нам почтение.

Он умел держать себя и знал, как нужно разговаривать с людьми, чтобы подавить их своей выдержкой, отточенными манерами, тихой, взвешенной речью большого и умного начальника. И он действительно был большим начальником, генерал-майор государственной безопасности Павел Анатольевич Судоплатов, руководитель Партизанского Управления НКВД СССР, хозяин специальных отрядов в немецком тылу. Он знал цену подчеркнутой простоте, которую могут разрешать себе люди, имеющие силу. Он посмеялся вместе со всеми рассказам Сергея о наших похождениях и о войне с местным домоуправом, посоветовал вести себя поосторожнее, особенно не расконспирироваться и, в основном больше послушав, чем поговорив, отбыл в ту же неизвестность, откуда появился.

Но ненадолго.

В ночь под Новый 1942-ой год, часа в два, раздался звонок, и я, не веря своим глазам, впустил в квартиру Михаила Борисовича и Павла Анатольевича.

Михаил Борисович держал подмышкой бутылки с вином, Павел Анатольевич – большой букет цветов.

– С Новым годом, – бодро прокричал Михаил Борисович и направился прямо в кухню. – Вы что, Николай, один дома?

– Н-е-е-т, – запинаясь от неожиданности, стал объяснять я. – Сергей и Нина работают на праздничном концерте, а у нас с Тасей свободный вечер. Она, по-моему, спит.

– Ничего, разбудите. Кто же спит под Новый год? – веселился Михаил Борисович, выкладывая на сундук бутылки и пакеты из карманов.

Павел Анатольевич, мягко улыбнувшись, прошел в столовую и показал мне на стул рядом:

– Как живете, Николай? Мама пишет вам? Как она там управляется с дочками в Ташкенте?

Пока Тася одевалась, а Михаил Борисович собственноручно откупоривал бутылки, Павел Анатольевич медленно втолковывал мне:

– Знаете, Николай, пожалуй, даже очень удачно, что ваших пока никого нет. Мы посовещались с Михаилом Борисовичем и решили вашу группу распустить. Опасность для Москвы миновала. Надеемся, что навсегда. Кроме того, некоторые ваши коллективные неудачи с конспирацией закрыли путь для дальнейшей работы вчетвером. Но мы подумали о вас лично. О вашем будущем. Как бы вы, например, отнеслись к работе в разведке не потому, что необходи-

мость обязывает, а несколько иначе? Скажем, как к большому, очень серьезному и очень нужному Родине делу. Тут придется и много поучиться и много поработать над собой. А потом, может быть, поехать в дальнюю и ответственную командировку…

– А куда? – не удержался я. – Куда поехать?

Павел Анатольевич задумчиво приподнял два пальца, не отрывая всей ладони от скатерти, и вдруг, уронив их обратно, сказал решительно:

– Ну, скажем, в Германию…

– В Германию? – чуть не вскрикнул я. – Конечно, поеду! Но как? И что я там буду делать?

– Тихо, тихо, Николай, – остановил меня вошедший Михаил Борисович, – Не все сразу… Сначала вам нужно стать настоящим профессиональным разведчиком.

Он разлил вино в стаканы, взял один из них и продолжал, смерив меня торжественным взглядом:

– Говорят, вы мечтали когда-то стать актером или режиссером… Ну, что ж: теперь ваша мечта может исполниться… С той, правда, разницей, что режиссировать вам придется свои собственные шаги и играть не на сцене. В жизни…

Глава 2

Первая роль, которую наметил для меня генерал Судоплатов, оказалась ролью «грузинского немца».

Километрах в пятидесяти к югу от Тбилиси есть небольшой город – Люксембург. Еще со времен Екатерины Великой там жили тысячи колонистов-немцев. За сотни лет их язык потерял связь с западным немецким языком, сами колонисты обрусели, но в принципе по-прежнему считали себя немцами. С началом войны им пришлось расплачиваться за свою национальную обособленность. Поезда с тысячами «грузинских немцев» потянулись из Люксембурга на восток в дальние и неизвестные места. Нашлись десятки смельчаков, решившихся бежать к недалекой турецкой границе. Многим удалось попасть на другую сторону. Немецкое посольство в Анкаре переправляло их в Германию, где они восстанавливались в «арийских» правах. Обо всем этом советской разведке было хорошо известно. В феврале 1942 года я получил от генерала Судоплатова задание выехать в Тбилиси, познакомиться с Люксембургом и затем превратиться в немца-колониста. Дело в том, что сотрудникам судоплатовской службы удалось найти среди колонистской молодежи юношу, одного со мною возраста, и с внешностью, примерно похожей на мою. Мне предстояло изучить своего «двойника», запомнить его родственников и знакомых и потом с его документами в кармане бежать через турецкую границу. Судоплатов серьезно верил, что я смогу попасть в Германию.

Он далее назначил мне встречу в Берлине, на одной из аллей Зоологического сада. Предполагалось, что из Германии я буду добиваться зачисления в армию и на фронте установлю связь с партизанской агентурой. Для моих неопытных ушей все звучало, как почетное и вполне осуществимое задание. Но мне не пришлось проверить правильности судоплатовских расчетов. Приехав в Грузию, я сразу заболел сыпным тифом и пролежал без сознания двадцать дней. Только в конце мая врачи разрешили мне вставать с постели. Ценное время было потеряно. «Бегство» в Турцию было отменено, и в июне я вернулся в Москву. Дебют в роли «грузинского немца» не удался.

Однако моя судьба в разведке была решена. Судоплатов окончательно привык к мысли, что меня надо превратить в немца, одеть в гитлеровскую форму и заслать в тыл фашистским войскам. Разница между грузинским колонистом и офицером немецкой армии с «арийской» родословной была, конечно, огромной.

Для нашего противника такой метод борьбы был не нов. Гитлеровская разведка с первых дней войны начала забрасывать в тыл нашей армии группы фальшивых офицеров, милиционеров и даже дворников, одетых в безупречно советскую одежду и снабженных «железными» документами. В Германии нашлось достаточно бывших русских, готовых выполнить любое поручение иностранных хозяев. Эти люди хорошо ориентировались в советской обстановке. Их сбрасывали на парашютах впереди быстро наступающей фашистской армии, и они успевали выполнять сложнейшие задания по диверсии и саботажу.

В советской разведке людей, способных сыграть роль немца, можно было пересчитать по пальцам еще до войны. Они были в основном иностранцами, политэмигрантами. В условиях же отступающей советской армии вопрос доверия к иностранцам становился особенно острым. Кроме того, в первые месяцы основное внимание уделялось оставлению агентуры под видом советских граждан. Готовить искусственных фашистов для заброски через фронт было некогда.

Так было до начала 1942 года, до психологического перелома в ходе войны. Когда проснулась сила и воля русской нации, когда гитлеровская армия была остановлена и в тылу ее стало расти партизанское движение – появилась и для советской разведки возможность заброски в тыл противника своей агентуры во вражеской военной форме.

Сначала были подготовлены небольшие «специальные отряды». Они формировались из спортсменов: боксеров, лыжников, бегунов, пловцов. Под Москвой, в военном городке Отдельной Мотострелковой Бригады Особого Назначения, или, как мы все называли ее, «ОМСБОН», эти люди проходили особую тренировку для суровых условий партизанской войны. Там же было собрано разнообразное трофейное оружие, созданы лаборатории диверсионной техники, сосредоточены лучшие инструкторы по боевой подготовке.

Уже в начале 1943 года несколько отрядов «особого назначения» было сброшено в партизанские районы глубокого тыла гитлеровской армии.

Эти отряды обосновались в лесах Украины и Белоруссии, установили радиосвязь с Москвой и начали разведку ближайших городов. Следующим этапом являлась заброска специально подготовленных людей, которые могли бы, с помощью уже устроившихся отрядов, проникнуть в районы, контролируемые гитлеровцами, и приступить к диверсиям. Такие люди тоже готовились в Москве, начиная с лета 1942 года. Конечно, не все они предназначались для работы в немецкой военной форме. Многие должны были разыгрывать белых эмигрантов, беженцев из прибалтийских стран, подданных разных государств, воюющих на стороне Германии, и так далее.

Но были места в фашистском тылу, куда можно было проникнуть только в форме немецкого офицера. Эти места были особенно интересны для советской разведки.

Летом 1942 года службе генерала Судоплатова – Партизанскому Управлению НКВД СССР – было разрешено подготовить четырех человек для заброски за линию фронта в немецкой военной форме. Трое из намеченных Судоплатовым людей были настоящими немцами. Четвертым «гитлеровским офицером» предстояло стать мне.

Начинать нужно было со шлифовки немецкого языка. Меня поселили на одной квартире вместе с Карлом Кляйнюнгом, немецким коммунистом, одним из остальных трех кандидатов. Разговоры с Карлом давали необходимую практику. Внимательно присматриваясь к нему, я запасался крылатыми словечками, типичными жестами, разными мелочами поведения, деталями воспоминаний о Германии – короче, тем материалом, из которого мне предстояло создать образ немецкого офицера по своей мерке.

Участвовать в войне Карлу приходилось не впервые. Он родился и вырос в Кельне – в одном из промышленных городов Германии. Всю свою молодость Карл отдал «делу рабочего класса». Верил ли он по-настоящему в легенду о Прометее двадцатого века – закованном пролетариате? Наверное – да. Иначе вряд ли хватило бы ему сил для долгих лет подполья в нацистской Германии, выдержки для холодных и жестоких ночей под Гвадалахарой в Испании, упорства для скитаний вдали от родины, захваченной социальными преступниками.

Но и ему предстояло первый раз в жизни надеть на себя мундир фашистского офицера и пойти за линию фронта. Мы быстро сдружились. Он оказался хорошим и верным товарищем. А по идейным вопросам разногласий у нас быть не могло: в 1942 году защита советской власти означала для меня защиту Родины.

Наверное, поэтому чувство счастливой гордости все росло и росло в моей душе. Инструкторы, замелькавшие в моей жизни с осени того года, принесли с собой причудливые кусочки романтической мозаики. Из этих кусочков для меня все больше и больше складывались слова: «особое доверие государства».

Так было, например, когда я в первый раз пришел в тир клуба НКВД.

Меня встретил у входа человек в штатском сером костюме и негромко пригласил: «Пойдемте, Николай».

Мы прошли через большой, пустой и полутемный вестибюль и спустились к железной двери в подвал. Мой спутник вошел первым и зажег свет. Стены, обитые темным мягким материалом, тяжелая плотная занавесь поперек комнаты, кресла, столики.

– Садитесь, Николай. Поговорим… Моя фамилия Годлевский. Я буду тренировать вас в стрельбе из личного оружия. Расскажите, как вы стреляете…

Годлевский говорил медленно, тихо, и невидимая улыбка витала вокруг его резко очерченного рта. Он сразу внушил мне доверие к себе. Я поспешил перечислить свои серьезные успехи в стрельбе из разнообразного оружия. Улыбка Годлевского на мгновение стала видимой. Он поднялся с кресла.

– Ну, давайте, попробуем.

Прошуршала отдернутая занавесь, щелкнул выключатель, и я увидел длинный прилавок. За ним, как окошко в стене, уходил далеко вперед ярко освещенный туннель с тремя маленькими рельсовыми путями. Годлевский откинул щиток на стальной тележке, пришпилил мишень и нажал рычаг. Тележка плавно поехала вглубь туннеля. Годлевский положил на прилавок немецкий пистолет «Вальтер» и пять патронов.

– Заряжайте.

Я вложил обойму, взвел курок и поднял пистолет.

– О, нет! – остановил меня Годлевский. – Спустите курок. Положите пистолет в карман. По команде можете стрелять. На скорость. Я засеку время… Внимание… Огонь!

Когда отзвучали выстрелы, Годлевский нажимом рычага вернул мишень к прилавку. Одна пуля попала примерно в середину, остальные разбрелись куда попало.

– Может быть, пистолет не пристрелян? – смущенно пробормотал я.

Годлевский молча послал мишень вглубь туннеля, зарядил пистолет и выстрелил пять патронов молниеносной серией, почти не целясь.

В подъехавшей мишени пять пуль тесно сжалось в середине черного яблочка. Во внимательном взгляде Годлевского не было ни хвастовства, ни укора. Глаза его всего-навсего подчеркивали зазвучавшие слова:

– Примерно так вам нужно стрелять. Даже если вас разбудят ночью. Скорее всего, именно тогда. В темноте, наощупь, в доли секунд. Над этим мы и будем работать.

Часа через два, когда в моей голове уже звенело от бесчисленных выстрелов, а руки онемели от беспрерывной вскидки пистолета, Годлевский ушел проверить, свободен ли от посторонних людей наш обратный путь через вестибюль.

Оставшись один, я начал рассматривать большую таблицу международных спортивных рекордов в углу тира. В графе «стрельба из боевого оружия» стояла фамилия Годлевского. Мой учитель был, оказывается, многолетним чемпионом СССР. Неудивительно, что все пять пуль так послушно легли в центр…

В те же дни я начал учиться радиосвязи.

Сначала пришлось несколько недель выстукивать на телеграфном ключе буквы алфавита. Ключ был привинчен к краю маминого обеденного стола, и стука его никто, кроме инструктора и меня, не слышал. Потом появился второй ключ и тонко жужжащий зуммер. Инструктор ушел в другую комнату. Начались «радиоразговоры» на интернациональном радиокоде. Если я чего-нибудь не понимал, можно было приоткрыть дверь и переспросить на словах.

Но однажды радиоинструктор принес на урок небольшой аккуратный чемодан. Три светло-коричневые коробки, каждая с небольшой сигарный ящик, были торжественно вынуты и положены на стол. Инструктор соединил их толстыми, многожильными шнурами и подключил к штепселю. Между верхушкой буфета и гардеробным крючком в передней он развесил белый провод-антенну и вернулся к коробкам.

– Это наша последняя модель портативной радиостанции от переменного тока. Называется «Набла». Надписи сделаны на английском языке для маскировки.

Он передал мне пару наушников, нажал на ключ и стал настраивать передатчик. Вспыхнула розовая неоновая лампочка. Инструктор объявил, что станция готова к передаче и приему. Потом многозначительно взглянул на часы.

– Через двадцать минут у вас будет первый сеанс. Пока я объясню, как составлять позывные.

Позывными называются буквы или цифры, отличающие одну радиостанцию от другой в эфире. Мне предстояло в будущем работать из района, занятого врагом, и я не мог иметь постоянной «фамилии». Каждый раз, появляясь в эфире, я должен был менять свои позывные. Инструктор объяснил систему. Из комбинации месяца, даты и дня недели получалась несложная таблица. После нескольких перестановок оставались три буквы.

У нас получилось две комбинации. ФДК для меня и ЛТР для неизвестного собеседника, с которым я должен был встретиться в эфире через десять минут.

Я надел наушники. Медленно вращая зубчатое колесико, я прослушивал волну, где должен был вынырнуть мой «корреспондент».

Десятки станций пищали и звенели на разные голоса. Где-то вдали шумела эфирная гроза, пропуская время от времени обрывки джазовой музыки. Чей-то надрывный голос кричал что-то непонятное в пространство. Казалось невероятным, что в этой запутанной звуковой сумятице можно услышать три буквы, только что вычисленные на кусочке тетрадной бумаги. Тонкий и чистый голосок новой станции привлек мое внимание.

Я никак не мог сообразить, почему задержался на нем.

Он упорно отсвистывал одну и ту же фразу. И вдруг, как-то сразу, я прочитал: «ФДК… ФДК… я ЛТР… я ЛТР…» Трудно описать эмоции первой радиосвязи с корреспондентом. Они похожи, может быть, на радость, которая охватывает вас, когда в чужом городе, в незнакомом обществе вы встречаете вдруг привычное лицо старого друга. Я схватил ключ и начал отвечать. ЛТР тут же остановил меня протяжным и приветливым свистом и заявил, что всё – «Р» и «КюЭсЭль». В вольном переводе это означало поздравление с первой радиосвязью.

Я никогда не увидел в лицо ни оператора ЛТР, ни всех других, с кем пришлось вести радиосвязи, сначала из Москвы, потом из-за линии фронта. Они так и остались для меня теми или другими «дежурными» буквами – ниточкой между моим радиоключом и центром, Москвой. И я для них был только группой из пяти цифр – 49445. Этот номер обозначал таблицу шифра, закрепленную за мной. Преподаватель по шифровке показал мне, как превращать слова телеграммы в сочетания цифр.

Мое начальство знало, что, работая в немецком тылу, я могу оказаться и без радиостанции. Нужен был запасной способ связи. Я стал учиться тайнописи.

Девушка-инструктор вынула из портфеля белый медицинский халат и, расправляя запутавшиеся тесемки, сказала невозмутимо:

– Нет, уколов делать вам я не буду. Но платье жалко портить. Некоторые химикалии оставляют несмываемые пятна.

Она аккуратно расставила на письменном столе склянки и пробирки и приступила к уроку.

– Сначала о чернилах. Наш отдел подобрал для вас водочный раствор глюкозы. Глюкоза продается в большинстве аптек. Покупка ее вас не скомпрометирует. Водка тоже вещество не подозрительное. Если вас и застанут за письмом, вы всегда можете просто выпить «чернила». Некоторым нашим лаборантам они показались даже вкусными.

Я составил раствор. Инструктор продолжал посвящение.

– Писать будете обычной ручкой, но с отожженным пером. Я принесла несколько телеграмм. Они составлены по вашему шифру. Начнем писать. Набирайте немного чернил и выписывайте каждую цифру аккуратно.

Пока я писал цифру, она еще была видна мокрыми линиями. Когда «письмо» было закончено, «чернила» высохли и исчезли.

– Если вы так его пошлете, – говорила девушка, – то на кварцевом облучении места бумаги, где легли чернила, станут видны. Надо защитить письмо. Намочите вату в водке и

быстро протрите листок бумаги с обеих сторон. Сразу после защиты будете сушить листок между промокашками. А то чернила расплывутся. Ничего не поделаешь. Конечно, сложная история. Зато никакая контрразведка вашего письма не прочитает.

Когда листок был «защищен» и высушен, оказалось, что нужно еще заложить его в толстую книгу для возвращения к прежнему «фабричному» состоянию.

Девушка перешла к рассказу о проявке.

– Проявка делается двумя веществами – ляписом и какой-нибудь сильной щелочью, скажем, натрием. Ляпис легко достать в аптеке. Натрий бывает в химических магазинах.

Девушка бросила в два блюдечка по горошинке каждого вещества и залила водкой. «Письмо» было вытащено из книги. Оно высохло и ничем не отличалось от чистой бумаги.

– Полагалось бы написать какой-либо видимый текст, но это в следующий раз. Давайте проявим.

Девушка намочила в одном из блюдечек ватный тампон и провела по невидимым строчкам моего «письма». Ничего не случилось. Только бумага стала желтеть и коробиться.

– Теперь быстро вторым раствором, – продолжала инструктор.

На этот раз за тампоном потянулся светло-коричневый след, и на нем начали проступать темные цифры.

– Вот и все. Текст надо быстро переписать, потому что минут через десять он снова исчезнет. В общем, вы видите, процесс простой.

Из вежливости я согласился с девушкой. Но прошло много недель, прежде чем мои письма стали действительно «тайными» и понятными для сотрудников специальной химической лаборатории НКВД СССР в Москве.

Когда я окончательно освоился со способом превращения аптечных средств в тайные чернила, пришло время для следующего шага: познакомиться со способами превращения аптечных средств во взрывчатые, так называемые «боевые вещества».

Мало кому из людей «мирных профессий» известно, что самые банальные «химикалии» могут стать иногда грозными разрушителями. Ацетон продается в аптеках для удаления с ногтей старого лака. Перекись водорода – для корректуры природного цвета женских волос. Соляная кислота идет на балансирование желудка и для пайки металлов. Но не рекомендуется смешивать вместе эти три вещества. Получающийся от смеси белый порошок является сильнейшей взрывчаткой.

Из кинопленки, ацетона и воды опытный разведчик в несколько минут может приготовить пироксилиновую шашку, раза в два сильнее толовой. Марганцевый калий и глицерин дают опасную зажигательную смесь. Фосфатные удобрения, пропитанные керосином, рвутся от детонации. Алюминиевые опилки и порошок фотовспышки горят с температурой свыше тысячи градусов.

Много таких «самодельных» рецептов пришлось вызубрить мне в те дни. Я познакомился и с готовыми «разрушительными средствами». И в первую очередь со знаменитой английской магнитной миной.

Конструкция ее очень проста. Кубик тола, заключенный в коробочку, и два небольших магнита по краям. Весь смысл мины заключается в том, что ее можно одним движением руки «прицепить» к любому металлическому предмету. В дни войны таким предметом чаще всего были стенки цистерны с бензином, металлические полосы на ящике со снарядами или крышка буксовой коробки у железнодорожного вагона. К минам прилагался «магический карандаш». Он действительно как две капли воды походил на настоящий карандаш. С той разницей, что был сделан из светлой бронзы. На белом ярлычке, прицепленном к середине «карандаша», стояли цифры: два, четыре, двенадцать часов. Карандаш вкладывался в мину. Ярлычок отрывался, и через соответствующее количество часов кубик тола взлетал на воздух.

В середине зимы 42–43 гг. на моем горизонте снова появился Егор Пожаров. На этот раз как инструктор прыжков с парашютом.

В крошечной кабине учебного самолета У-2 было тесно. Егор взял меня за плечо и закричал в ухо:

– Садись осторожно на край, свесь ноги и по моей команде прыгнешь вниз головой.

Я покосился на дыру без двери и, стараясь не вытолкнуть Егора наружу, стал протискиваться в приказанном направлении. По высунутым ногам ударила плотная струя мчащегося мимо воздуха. Я прижал лицо к краю толстой фанеры и заглянул вниз. Мохнатые черточки деревьев окружали заснеженный аэродром. Тоненькие дороги, рядом с ними – темные полоски домов, пушистый клубок пара от паровоза на соседней станции… Красиво. Но когда мелькнула мысль, что туда нужно ринуться вниз головой, мурашки пробежали по спине и в желудке засосало.

Егор накрутил на руку белый шнур, привязанный к моему парашюту, и наклонился ко мне:

– Приготовиться, – заорал он.

Готовиться было нечего. Казалось совершенно диким, что через несколько секунд я полечу, как камень, туда, вниз.

– Пошел! – крикнул Егор и столкнул меня решительным пинком в спину.

В то же мгновение чья-то ледяная рука сдавила сердце. Открывшийся судорожно рот пытался схватить воздух. Но воздуха не было. В ушах свистело. Барахтающиеся движения рук напоминали, наверное, рыбу, выброшенную на песок. Сколько секунд прошло, я не знаю. Резкий толчок встряхнул меня, как куклу, вернул небо наверх, землю вниз, а мне – способность мыслить.

Кругом воцарились тишина и покой. Я неподвижно висел в воздухе. Над головой шуршал гигантский купол парашюта. Мне стало ясно, что произошла техническая ошибка. Парашют был слишком большим для моего веса. Ветер, очевидно, нес меня и не давал падать. Я огляделся по сторонам уже совсем трезво. Земля была по-прежнему далеко внизу, но не казалась больше страшной. Наоборот, вопрос возвращения на нее начинал уже немного беспокоить. И вдруг сразу все изменилось. Извилистые разводы дорог бешено помчались навстречу. Едва успев согнуть, по инструкции, ноги, я повалился в снег. Земля оказалась мягкой и приветливой.

Потом мне пришлось прыгать с транспортного самолета «Дуглас», с высоты и в шестьсот метров, и в девятьсот, с прицепленным тросом и с кольцом, но всякий раз, подходя к открытой двери, я задерживался на секунду, вспоминая ледяную руку, сжавшую сердце при первом прыжке. Она никогда больше не вернулась. Человек легко привыкает ко всему.

Но самым главным и самым трудным оставалось другое – образ немецкого офицера. Изучить его было мало – в него нужно было вжиться, привыкнуть к нему, как к самому себе.

Разными путями я пробивался к этой цели. Специальные преподаватели знакомили меня с историей Германии, с ее культурой и экономикой. Чтение нацистских книг и газет открывало мрачные перспективы розенберговской «идеологии». Зубрежка немецкого военного устава учила безошибочно ориентироваться в чинах и позументах гитлеровской армии. Барабаня одним пальцем на мамином пианино, я привыкал к звучанию мелодий «Эс-А марширт» и «Унтер дер латерне». Каждый вечер через особый приемник мне приходилось выслушивать очередную трескучую сводку Берлина и «темпераментные» проповеди геббельсовских радиоораторов. Кроме того, Карл и я получили возможность встречаться с настоящими, вернее, бывшими гитлеровскими офицерами в подмосковном лагере для военнопленных.

Примерно через полгода после начала войны НКВД СССР построило в подмосковном городке Красногорске специальный лагерь. Он был своеобразной лабораторией советской разведки. Сюда со всех фронтов и из всех лагерей присылались пленные гитлеровцы, представ-

лявшие «оперативный интерес». Некоторые из них обрабатывались для сотрудничества, другие были редким источником информации или связей. В эту «лабораторию» мы с Карлом стали регулярно наведываться.

Опрашивая пленных, мы узнавали детали офицерского быта. По нашей просьбе солдаты разыгрывали сценки строевого шага при встрече с генералом, отдачи рапорта офицеру и прочие «проблемы» прусской военной шлифовки. Я фотографировал полагающееся по уставу расстояние локтей от бедер при стойке «смирно» или положение головы при повороте на каблуках. Работа кипела. Нам все больше и больше казалось, что стать немецкими офицерами будет не так уж сложно.

Но у нашего начальства были, по-видимому, серьезные колебания по этому вопросу. В апреле 1943 года Маклярский вызвал меня на одну из квартир, принадлежащих судоплатовской службе, на улице Горького. На таких квартирах офицеры разведки тайно встречались с агентурой и назывались они «конспиративными квартирами», или, проще, «КК».

В кабинете «КК» номер 141, кроме Маклярского, был еще один не знакомый мне человек.

Развалившись в кресле, грузный и неподвижный, он несколько секунд молча сверлил меня маленькими глазками. Потом, не подымаясь, протянул руку и сказал:

– Садитесь. Как ваши парашютные прыжки?

– Ничего, прыгаю…

Видя, что я замялся, незнакомец добавил:

– Леонид Александрович, мое имя. Ну, а к немцам спрыгнете?

– Для этого я и тренируюсь…

– Знаю, знаю. Но вы-то русский. А они – немцы. Не раскусят они вас в два счета? Не повесят на ближайшем фонаре?

– Я не самоубийца…

Тон незнакомца начинал раздражать меня, но притихший Маклярский заставлял подозревать, что передо мной сидит большое начальство. Леонид Александрович продолжал:

– Мы тоже не хотели бы жертвовать вашей жизнью, очертя голову. Надо проверить сначала, чему вы научились. В лагерь немецких военнопленных поедете?

– Мы уже много раз там бывали.

– Я имею в виду поездку под видом пленного. Сумеете прожить в лагере, скажем, месяц? Не догадаются, кто вы такой?

Я задумался. А почему бы и нет? Если под обостренно внимательным взглядом пленных наша немецкая маскировка устоит, то шансы на успех за линией фронта станут реальными.

– Ну, что ж… Поеду, если надо…

Леонид Александрович удовлетворенно взглянул на Маклярского.

– Организуйте это дело. Никакой протекции с нашей стороны. Пусть проверят себя оба по-настоящему.

Но совсем без протекции дело не обошлось. Когда через несколько дней Карл и я сели в купе поезда, направлявшегося на север, вместе с нами было трое сотрудников разведки, назначенных в помощь. Мы ехали в городок Оболовку, километров за четыреста от Москвы.

По дороге выяснилось, что Леонид Александрович был старым знакомым Карла. Кляйнюнг состоял в его личной охране в Испании и знал как генерала Котова. Во время испанской войны генерал Котов руководил партизанской деятельностью Интернациональной бригады. Но в те годы он был и хозяином советской разведки во Франции. Немало сложных разведывательных комбинаций по Европе родилось в свое время в широколобой, лысоватой голове с маленькими буравящими глазками. Настоящая фамилия Котова была – Эйтингон. В 1943 году он в чине генерал-майора был заместителем Судоплатова.

Городок Оболовка оказался похожим больше на крупное село. Тем не менее районное управление НКВД помещалось в каменном доме с несколькими подъездами.

Через черный ход наши спутники провели нас незаметно в кабинет начальника управления. Туда же были принесены два чемодана с военной формой. Начальник перечитал еще раз письмо из Москвы, смерил нас изучающим взглядом и нейтрально предложил «устраиваться, как дома».

Мы с Карлом не заставили себя долго просить и начали облачаться в заношенные, наскоро продезинфицированные трофейные «комплекты». Толстое бумажное белье, узкие трубочки застиранных галифе, шершавый мундир с непослушными, пузатыми пуговицами, заскорузлые, тяжелые сапоги…

Сопровождавшая нас «переводчица» достала из портфеля привезенные из Москвы погоны. Цокая металлическими подковами, мы с восхищением прошлись по комнате друг перед другом. Начальник управления подписал сопроводительные бумаги, постучал по чернильнице, чтобы прекратить смех, и нажал кнопку звонка.

– Вызовите караул, – сказал он появившемуся секретарю.

Караул состоял из рослого солдата в шинели, не лучше наших трофейных, и потертой трехлинейки с примкнутым штыком.

– Возьмите вот этих, – ткнул пальцем в нашу сторону начальник, – и доставьте в лагерь.

– Слушаюсь, – отчеканил солдат и зашел нам в спину. – Вперед, фрицы!

«Фрицы» послушно поплелись к двери.

Наши спутники остались в комнате. Теперь они могли следить за нами только издали и тайно.

В тот день в городе Оболовке стояла плохая погода. Моросил мелкий дождик, и небо было затянуто ровной, безнадежной пеленой.

На своем пути через город наша унылая группа большой сенсации не произвела. Запахиваясь в намокшие шинели от порывов холодного ветра, стараясь не поскользнуться на размокшей дорожной глине, виновато сгорбившись, как бы под тяжестью всех грехов гитлеровской армии, мы брели тихонько по русской проселочной дороге и чувствовали, как горькое бремя пленного начинает потихоньку давить на нашу душу.

Из-за тревожного ли военного времени или просто из-за плохой погоды городок казался безлюдным.

Только на одном перекрестке две девушки в синих ватниках оглянулись с любопытством, и задорный голос крикнул в спину: «Фрицев ведуть!!»

Да еще перед самой окраиной, там, где уже стоял первый деревенский колодец срубом, женщина в белом головном платке и мужском осеннем пальто составила ведра на дорогу, проводила нас долгим взглядом и перекрестилась украдкой. Мне стало почему-то теплее на душе и, оглянувшись еще раз, я подмигнул широко раскрытым глазенкам маленькой девочки, уцепившейся за край ведра.

Город кончился. Впереди лежало полотно узкоколейки, и вдоль него – семь километров до лагеря.

Часа через два нас сдали под расписку дежурному охраннику. В одном из бараков мы получили каждый по полоске деревянных голых нар и были включены в «трудовое расписание» на следующий день.

Тридцать дней и ночей я прожил затем за колючей проволокой под видом младшего офицера немецкого пехотного полка Вальтера Латте, попавшего в плен в одном из боев севернее Сталинграда.

Карл, по совету Эйтингона еще в Москве, удовольствовался званием унтер-офицера. В такой комбинации чинов был свой особый смысл, полностью себя потом оправдавший за линией фронта.

Как и следовало ожидать, жизнь в лагере оказалась несладкой. Доля пленного всегда незавидна.

Трудовой день оболовских пленных начинался ранним утром. Для моих товарищей по нарам подъем был труден, как мучительное расставание со сном. Я же скоро начал бояться утреннего подъема по другим причинам.

Когда человек просыпается, первыми включаются наиболее привычные рефлексы. Поэтому слова в этот момент «смутного сознания» невольно подбираются из родного языка. Родным языком Вальтера Латте был, к сожалению, русский. В первое же утро, пытаясь поднять свое ноющее тело с неудачной комбинации досок и щелей, я преспокойно пробормотал: «Который час?» – на чистейшем русском языке. Тут же очнувшийся мозг заставил меня с ужасом вскочить. Вблизи никого не было, и мой первый провал оказался незамеченным. Но испуг остался. Я стал старательно развивать в себе привычку, проснувшись, держать язык за зубами, пока сознание не прояснится. За линией фронта такая «оговорка» может стоить жизни.

Но не говорить по-русски было мало. Предстояло разучиться понимать родной язык. Это оказалось труднее, чем я думал.

Вместе с остальными пленными нам с Карлом приходилось выполнять самую различную работу. Разгружать бревна из железнодорожных вагонов, разбирать разрушенные дома, возить вагонетки с углем и торфом по местной узкоколейке, копать канавы для осушки торфяных болот и многое другое. Протекцией от центра мы не пользовались. Наши спутники приехали в лагерь под видом офицеров контрразведки и внешне ничего о нас не знали. Один только начальник лагеря был посвящен в тайну двух «искусственных фашистов».

Время от времени, обычно под вечер, Карл или я задерживались по пути в барак в тени одного из недостроенных сараев. Там, в ветреном, темном углу, боязливо оглядываясь по сторонам, мы рапортовали шепотом нашим «наблюдателям» о развитии своей карьеры военнопленных и, в передышках между фразами, наскоро сжевывали кусок колбасы или бутерброд. Девушка приносила даже яблоки и груши. «Для витаминов», – уговаривала она. Но мы в уговорах не нуждались. Жидкая пшенная кашица и скудный паек черного хлеба заставляли нас ждать «рапорта», как манны небесной.

Однажды нашу рабочую бригаду послали на разработку торфа. Оттопав километров пять, мы добрались до только что осушенного болота. Охранники уселись отдыхать на кочках, а мы приступили к резке торфа и укладке его в кучи для просушки.

Оглядываться по сторонам было некогда. Наверное, поэтому раздавшийся вдруг совсем рядом женский голос заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Голос звучал нарочито громко и нескрываемо игриво.

– Эй, Фриц! Не ходи до Машки! Она до мужиков охочая!

Дружный бабий хохот заглушил дальнейшие слова. Я оглянулся. Метрах в десяти от нас, на соседнем участке, работали девчата. Очевидно, поденщицы из соседнего колхоза. Немец, рослый и тощий, старшина из Баварии, забрел неосторожно на их участок. «Машка», молоденькая и пухлая девчонка, красная от смущения, ждала паузы, чтобы выкрикнуть что-нибудь поостроумнее. И выкрикнула. Девчата снова грохнули смехом. Мне стало немного не по себе. Остроту Машки не напечатал бы ни один приличный юмористический журнал. Немцы смотрели на развеселившихся соседок и растерянно улыбались, не понимая ни слова. Охранники сидели далеко и увлеклись собственным разговором. Девчата быстро сообразили, что стесняться в острословии некого. Подзадоривая друг друга, они начали перебирать возможные варианты использования нас как мужчин и перешли, не задерживаясь, к личностям. Я невольно прислушивался к необычным женским откровенностям. Карл резко дернул меня за рукав.

– Ты чего покраснел? Слушаешь, что они болтают? С ума сошел, ты же можешь выдать себя так!

Я быстро пригнулся к земле, чтобы скрыть лицо, и стал усердно собирать торф. Плохо у меня с выдержкой. Опять чуть не выдал себя.

К счастью, такие уроки не проходили даром.

Постепенно я привыкал относиться равнодушно к звучанию русских слов. Мне помогли убедиться в этом два советских контрразведчика.

В оболовском лагере, как во всяком приличном лагере для военнопленных, имелось отделение контрразведки. Два офицера, капитан и лейтенант, «изучали» пленных и вербовали агентуру.

Некоторое время контрразведчики присматривались к Карлу и ко мне, а потом вызвали в маленькую комнатку рядом с санчастью. Карл попал туда первым. Он хмуро и категорически заявил, что никаких разговоров с коммунистами вести не будет. В результате храброго унтерофицера посадили на урезанное питание и стали посылать на тяжелые работы. Карл не горевал: рацион он пополнял лишними порциями колбасы во время «рапортов», а к тяжелым работам привык с детства.

Мое знакомство с контрразведчиками сложилось несколько иначе. Мне казалось, что средний тип пленного должен быть на допросах более уступчивым. Я попытался рассказать им несколько красочных историй о городе Кенигсберге и о фронтовых впечатлениях Вальтера Латте. Часть этих рассказов была почерпнута из Красногорских воспоминаний, часть была создана тут же, в промежутках между вопросами заинтересовавшихся офицеров. К сожалению, мое творчество, разыгравшееся под влиянием лагерной монотонности, получило совершенно неправильную оценку. Контрразведчики решили, что Вальтер Латте мог бы перейти с информации о родном городе на информацию о друзьях по бараку. Прежде чем приступить к «посвящению» в агентурные таинства, офицеры решили проверить, не знает ли Латте русского языка. Я так и не понял, зачем им это было нужно, но после инцидента с развязными девчатами методы контрразведчиков показались тусклыми и ненадежными. Они открывали, например, за моей спиной коробку папирос и предлагали на русском языке закурить. Или вскрикивали неожиданно: «Падает! Лампа падает!» Лейтенанту первому надоело, и он заявил скучным голосом:

– Хватит, Саш. Не знает он русского. Давай, вербуй.

Тут я сообразил, какую ловушку приготовил себе. Карьера агента контрразведки была мне ни к чему. Пришлось резко менять курс. Вся история кончилась тем, что я разделил судьбу Карла. Мы стали приходить одинаково голодными на «рапорта», оказались на одной и той же тяжелой работе и, в конце концов, вместе попали в карцер.

Но одно обстоятельство – радовало. Контрразведчики располагали сетью информаторов среди пленных. Если им никто не донес, что Карл и я не настоящие «фашисты», значит, «коллеги» по лагерю ничего не подозревали.

Я почувствовал, как повышаются наши шансы выжить при разыгрывании таких же ролей в немецком тылу.

Тем временем тридцать дней подходили к концу.

В один из вечеров я остановился у колючей проволоки. По дорожке от барака медленно шел старый генерал-немец. Мне не хотелось лишних разговоров, и я стал усиленно всматриваться в горящий солнечным отсветом Запад.

Получилась, наверное, классическая картина пленного, тоскующего по Родине, потому что старик подошел ближе и положил руку мне на плечо.

– Не горюйте, молодой человек. Все обойдется. Мы еще вернемся туда.

Я промолчал, но не из-за нехватки немецких слов.

Он почти угадал мои мысли. В них я был уже за линией фронта, бродя по немецкому тылу в форме гитлеровского офицера. Образ этого второго «я», не так давно еще совсем не

знакомого, начал приобретать в моем сознании реальные черты. Теперь нужно было вдохнуть жизнь в вымысел, дать ему биографию, документы, место службы, звание и даже ордена.

Ждать оставалось недолго.

На следующее утро Карл и я были вызваны к начальнику лагеря. Вместе с нашими спутниками мы отошли километра на три от колючей проволоки, переоделись под откосом узкоколейки в гражданскую одежду и поспешили в Москву.

Через несколько недель в одну из партизанских землянок в белорусских лесах пришла радиограмма. Командиру спецгруппы Партизанского Управления НКВД СССР полковнику Куцину приказывалось установить связь с соседним партизанским аэродромом и подготовить приемку самолета…

26 августа 1943 года с одного из военных аэродромов вблизи Москвы поднялся самолет. Круто забравшись на головокружительную высоту, он пошел на запад ровной скоростью в 250 километров, характерной для американских «Дугласов». На его птичьем теле не было ни единого светлого пятнышка. Плотная серо-зеленая краска покрывала и те места, где обычно находятся опознавательные знаки. Самолет в них не нуждался. До линии фронта путь ему открывали специальные условные радиосигналы. После линии фронта пилот мог полагаться только на свое мастерство, удачную облачность и большую порцию счастья.

В предыдущую ночь счастья оказалось недостаточно. Серо-зеленая птица вернулась с полпути с пробоинами в крыльях. За день пробоины были залатаны, пассажиры, отдохнув по домам, привели в порядок свои нервы и, пристроившись на узких волнистых скамейках, готовились снова попытать судьбу.

Их было восемь человек.

Все в одинаковых защитного цвета «десантных» комбинезонах, они дремали, откинувшись назад на угловатые, твердые мешки парашютов, пристегнутые к спинам. В самолете было темно. Вечер уже обогнал его и умчался на запад, оставив за собой мерцание ранних звезд и темную синь неба, заполнившую слюдяные окошечки. Пилот старался идти над облаками.

Пассажиры не разговаривали друг с другом. Не только потому, что рев моторов заглушал голос. Но, направляясь за линию фронта, лучше не заводить новых знакомств и не откровенничать без нужды. Защитные, одинаковые комбинезоны и надвинутые на брови летные шлемы помогали скрыть человека, как раковина закрывает улитку.

У двоих из пассажиров комбинезоны закрывали, кроме того, немецкие военные мундиры. Этими двумя были Карл и я.

Портной спецсклада хорошо подогнал по мне офицерскую форму. Я успел уже привыкнуть к ней. Мне предстояло еще привыкнуть к имени Отто Витгенштейн. На это имя было выдано небольшое удостоверение, лежавшее в нагрудном кармане моего мундира. Оно было напечатано на особом зеленом материале, похожем на клеенку. Где-то в Германии какая-то военная типография строго хранила секрет зеленой клеенки. И все же в Москве лаборатория НКВД изготовила бланк, не отличимый от настоящего. Текст, вписанный специальным косым шрифтом, удостоверял, что Отто Витгенштейн является старшим лейтенантом Тайной Полевой Полиции и служит во фронтовом отделении № 49. Я знал, что такое отделение существует, но начальник его вряд ли слышал что-нибудь об Отто Витгенштейне. Зато вид удостоверения был внушительным. На одной его половине Отто снисходительно улыбался с фотокарточки, подтверждающей право старшего лейтенанта носить штатскую одежду. На другой по-служебному вытянутое лицо Витгенштейна старалось соответствовать тщательно отглаженному мундиру, блестящим погонам и аккуратно втиснутым в фотографию орденским ленточкам. Я, между прочим, не особенно настаивал, чтобы вышли непременно все ордена, но фотограф спецслужбы заявил категорически, что «в ленточках самая краса».

В том же нагрудном кармане лежали бланки «марш-бефелей», то есть командировок. В них старшему лейтенанту приказывалось отправиться из города Орши в город Минск для

выполнения задания командира части. Каждый бланк содержал один и тот же приказ, но был датирован на неделю позже. Из Москвы трудно было предвидеть, когда и как Отто Витгенштейн сумеет попасть на удобный участок маршрута, ведущего из Орши в Минск.

Под комбинезоном Карла скрывался мундир унтер-офицера той же полицейской части. По мысли Эйтингона, унтер-офицер Шульце автоматически обязан был говорить и действовать больше, чем старший лейтенант Витгенштейн. Эйтингон считал, что биография Витгенштейна как немецкого офицера слишком коротка, и лучше ему первое время держать в основном язык за зубами. Несмотря на свое юношеское самолюбие, я в душе соглашался с генералом.

Самолет закачало. Мы поползли по скамейке вниз, к хвосту. Пилот старался набрать высоту. Внизу, в просвете облаков, тонкий, бледный луч описал полукруг, чуть касаясь земли, и погас, фиолетовый огонек замигал нервно и быстро, но тут же исчез за краем тучи.

Из летной кабины высунулась фигура в меховой куртке, крикнула нам: «Фронт!» – и снова скрылась.

Зенитки молчали. Мы ждали, что с минуты на минуту снова полетят к нам вверх вереницы разноцветных, пылающих штрихов, что снова ослепительные вспышки начнут встряхивать машину, и снова безжалостная рука пилота бросит самолет вниз в жутком, захватывающем дыхание уходе от обстрела. Но в эту ночь зенитки молчали. Похоже было, что на этот раз мы долетим.

Я пристроился поудобнее на скамейке и приладил под голову мешок парашюта. Партизанский аэродром обещал принять нас с посадкой. У них есть раненые, и они просят отправить их в советский тыл. Удастся ли сесть? Заранее предсказать трудно. Или придется ринуться вниз головой в непроглядную тьму, заполненную невидимыми деревьями и топью болот?

Мы летели уже над землей, занятой гитлеровцами. До рассвета всего несколько часов. Если будем прыгать с парашютом, времени у пилота, чтобы дотянуть обратно до линии фронта, останется в обрез.

Да нет, все должно обойтись хорошо. Ведь только за час до отлета пришла радиограмма, что Куцин ждет нас на лесной поляне, в 60 километрах к востоку от Минска. Сигнал к посадке – три костра, выложенные условным знаком. Завтра, наверное, я буду уже знать свое первое задание.

Интересно, каков этот Куцин…

Самолет резко накренился, и меня отбросило к окну. Внизу, в беспросветной темноте плавали маленькие огненные точки… Костры. Мы долетели. Пилот повернул машину еще более круто, описывая узкий круг над сигналом. Внезапно точки вспыхнули яркими пламенными языками. Нас услышали и подбросили дров в костры. Значит, можно садиться.

Уши заложило. Оттого ли, что самолет стремительно ринулся вниз, или от внезапно наступившей тишины. Из крыльев между моторами вырвались ослепительные снопы света. Странно, никогда не подумал бы, что, садясь на партизанский аэродром, пилот осмелится включить фары.

Мягкий, пружинящий толчок, потом резкое торможение, и самолет остановился. Снаружи, в фантастических брызгах искр, темные фигурки яростно затаптывали прогоревшие костры.

Летчик отбросил стальную дверь люка. Карл и я одними из первых спрыгнули на землю.

Самолетные фары потухли. Кругом стояла темнота. Только по зубчатым верхушкам деревьев можно было понять, где начинается небо, да тлеющие головешки отбрасывали красноватые отблески на незнакомые силуэты людей. Пахло дымом, осенней сухой травой и лесным пьяным воздухом. В настороженной тишине запиликал бесцеремонно какой-то невидимый сверчок, и в душе моей мелькнуло на секунду видение дачного подмосковного участка, самовара на еловых шишках, террасы, озаренной светлым пятнышком керосиновой лампы, белых

ночных бабочек, стукающихся о раскаленное стекло, и обрывков разговора на скамейке в саду…

Но видение тут же рассеялось.

Плотная, коренастая фигура придвинулась решительно, и низкий голос спросил по-хозяйски:

– Товарищи Волин и Виктор здесь?

«Волиным» и «Виктором» были мы. Дружеские руки подхватили наши вещевые мешки и потащили вглубь леса. Там пришлось отвечать на чьи-то рукопожатия, рассказывать невидимым людям, как долетели, не стреляли ли по нам зенитки и какая в Москве погода.

– Ну, пошли, – скомандовал кто-то.

Рядом взвизгнули несмазанные колеса подводы. Я уцепился за деревянную перекладину и попробовал попасть в ногу с фыркавшей где-то впереди лошадью. Это оказалось удачной находкой. Идти было легко, опираясь на отполированный сотнями прикосновений край телеги. Даже когда посветлело, я не отпустил удобной перекладинки.

Мы шли по заброшенной проселочной дороге. Трава, прижимавшаяся к ней, была запорошена густой утренней росой. Сквозь поросли можжевельника виднелись рваные полосы тумана, запутавшегося в темных стволах деревьев. Рослый, по-осеннему богатый листвой белорусский лес обступал нас со всех сторон.

Я мог уже рассмотреть своих новых знакомых. Их было человек десять. Все в таких же, как у нас, защитного цвета комбинезонах и с новенькими автоматами в руках. Наверное, автоматчики из отряда капитана Козлова. Я слышал от Маклярского, что капитан спрыгнул со своими людьми в расположение группы Куцина несколько недель тому назад.

Начались болота. Вещи были сняты с подводы. По одному, гуськом, балансируя с помощью подобранных палок, мы двинулись вдоль узких жердочек, проложенных с кочки на кочку. Острый запах тины и теплого мха пощипывал ноздри. Ярко-зеленый трясучий покров между кочками напоминал, что оступаться нельзя.

Солнце уже взошло, когда мы снова вышли на твердую землю.

Небольшой партизанский лагерь приютился в низкорослом сосновнике у самого края болота. Мы подошли к одной из покрытых дерном крыш, как бы поставленных прямо на землю. Снизу, из распахнутой маленькой дверки, доносился стук радиоключа. Рослая фигура в венгерском френче песочного цвета и таких же галифе вышла к нам навстречу.

– Привет, привет! С приездом, ребята.

Фигурой во френче был полковник Куцин.

После завтрака из густого партизанского картофельного супа и чая с жестяным привкусом болота Куцин пригласил меня прогуляться для разговора «по душам».

Первые минуты беседы прошли во взаимном изучении. Куцин выспрашивал меня, а я присматривался к нему. В 1943 году полковнику было лет сорок.

Он шел рядом со мной не спеша и немного вперевалку. Глядя на его круглую, лысую голову, с темной прядкой лихо зачесанной через темя, я вспомнил невольно запорожцев с репинской картины.

Куцин вынул прокуренную трубку из угла рта и постучал ею о дерево.

– Давайте сядем, – показал он широким жестом на два пенька.

Куцин задумался на минуту, глядя на кусты орешника, за которыми скрылся лагерь.

– Хорошо, что вы прилетели сегодня, Николай. Немцы, кажется, собираются блокировать этот район. В ближайших гарнизонах накапливаются войска.

– Что же, драться будете?

– Нет. Зачем? Нам своих людей беречь надо. Побегаем с неделю по болотам, только и всего. Здесь же места для техники непроходимые. А немец тоже человек. Погоняется за нами

и устанет. Жаль, конечно, лагерь покидать. Сожгут его. Ничего, построим новый. Но вам обязательно до начала блокады надо вырваться в Минск.

– Раз уж речь зашла, товарищ полковник… Маклярский говорил, что для нас уже есть конкретное задание. Может быть, вы…

– Конечно. Скрывать мне нечего. Вам с Карлом предстоит ликвидировать гауляйтера Белоруссии Кубе. И как можно скорее. Могила по нему давно скучает.

Мое сердце екнуло. Пробраться в столицу оккупированной Белоруссии и убить человека, имя которого воплощает страх и террор для миллионов. Гитлеровского гауляйтера, на руках которого столько крови русских людей. Ради такого дела стоило готовиться и ждать…

Куцин заметил, наверное, восхищение, мелькнувшее в моих глазах.

– Тихо, тихо, Николай. Это не так просто, как кажется. Кубе стал за последнее время очень осторожен. Здесь десятки партизанских отрядов, и все хотят убить гауляйтера. Нужно было придумать что-то вне конкуренции. Поэтому мы и договаривались с Москвой, что вашей первой работой здесь будет операция по Кубе. В то время он не особенно берегся. Офицеру в форме можно было подойти к нему на улице во время прогулки и застрелить. Местного человека охрана, конечно, и близко не подпустила бы. А офицеру могло удаться. Или зайти в его рабочий кабинет с каким-нибудь «секретным пакетом» и бросить гранату. В общем, возможности были большие. Но пока в Москве, по их привычке, совещались да «утрясали», время ушло. Теперь Кубе на прогулке не увидишь. Ездит в закрытой машине. На работе появляется неожиданно и ненадолго. В общем, поумнел… Но уничтожить его все равно надо.

Глава 3

В тридцати километрах от Минска, рядом с Московским шоссе, лежит местечко Смиловичи. С востока край многокилометрового лесного массива подходит узким клином почти вплотную.

В конце августа 1943 года лесная чаща, граничившая с местечком, была удобным местом для выхода на территорию, контролируемую немцами. Партизанские лагеря находились глубже в лесах, у далеких болот. Но по Московскому шоссе сновали сотни немецких автомобилей, поддерживавших связь Минска с фронтом. Поэтому в Смиловичах стоял сильный гарнизон, а в окрестных деревнях немцы посадили старост, полицейских и завербовали агентуру на ближних хуторах. Специальные моторизованные отряды держались наготове, чтобы закрыть подходы к шоссе при первом известии о появлении партизан.

Тем не менее в ночь с 27 на 28 августа небольшая группа людей подобралась к шоссе, не всполошив окружающих гарнизонов.

Нас было тринадцать человек. Накануне вечером, распрощавшись с Куциным и его штабом, мы выскользнули из неплотного кольца только что начавшейся блокады, обошли деревни и хутора и ранним утром достигли молодого ельника, недалеко от намеченной деревушки. Капитан Козлов, командир сопровождавшей нас охраны, послал четырех своих людей вперед, к краю леса, на разведку. Они бесшумно скользнули в чащу с автоматами наперевес, и их комбинезоны защитного цвета растворились в зелени леса. Мне нравились ребята из отряда капитана. Их дисциплина, выдержка и способность легко переносить трудности партизанской войны были не случайными. Большинство прошло многолетнюю школу в спортивных обществах. Под зеленоватыми комбинезонами бойцов спецотряда скрывались порой обладатели рекордов по слалому, плаванию, легкой атлетике, мастера ринга и беговой дорожки. Поэтому призывные пункты или комсомольская организация и послали их в свое время в ОМСБОН для выполнения особых заданий в немецком тылу.

Коренастый, плотно сбитый паренек со светлыми «фронтовыми» усами на мальчишеском лице ловко закинул деревянное колесико на вершину елки, подергал за конец белого шнура, оставшийся в руке, и елка утвердительно качнула веткой. Антенна для моей радиостанции была натянута. Его товарищ, положив автомат на землю, расставил металлические ножки небольшой скамейки, привинтил сверху цилиндр динамо-машины и прикрепил длинную ручку. Все сооружение называлось «солдатиком». Наверное, из-за цвета краски, напоминавшей цвет солдатской шинели. Крутить ручку «солдатика» было тяжелой работой. Но в то утро мне предстояло установить радиосвязь с Москвой, и передатчику нужна была максимальная мощность.

Тем временем я закончил шифровку телеграммы. Текст был короткий: «Руководству. К переходу на немецкую территорию готовы. Волин».

Паренек, поплевав многозначительно в ладони, налег на ручку, и «солдатик» тонко зажужжал. Контрольная лампочка ярко вспыхнула на панели передатчика.

– Стоп, стоп! Хорош пока.

Теперь можно включать приемник и искать Москву. Она появилась в эфире, как всегда, точно в назначенное время. Голос ее был чистый, звонкий и уверенный. А может быть, мне только так казалось, потому что это был голос родной Москвы.

Московский оператор отстучал свое «АР» и «К». Я дал знак пареньку. Теперь мои позывные пошли в эфир и полетели через линию фронта. Москва тут же ответила: «Слышу, давайте телеграмму». Через минуту текст моего сообщения лежал на столе в далекой московской радиорубке. Мы попрощались с оператором. Но только для вида. Через тридцать минут нам предстояло встретиться на другой волне. Время, нужное московскому оператору, чтобы рас-

шифровать телеграммы, связаться с генералом Судоплатовым, получить ответ, зашифровать и снова выйти в эфир.

– Коль, дай сводочку послушать, а? – умоляюще обратился ко мне мой помощник по «солдатику».

Правильно. В Москве стрелки подходили к семи, и с минуты на минуту голос диктора Левитана должен был провозгласить торжественно: «От Советского Информбюро…»

– На, слушай, конечно. Настройка вот здесь.

– Будь спокоен! Поймаю.

Паренек положил наушники в жестяной котелок, и через секунду все остальные ребята сгрудились над импровизированным громкоговорителем, затаив дыхание.

Отодвинувшись под елку, я пытался собрать свои мысли.

В двух шагах от меня Карл все еще рассматривал вместе с капитаном разложенные по траве замусоленные кусочки карты-километровки и что-то горячо обсуждал, водя пальцем между жирной линией Московского шоссе и квадратиками смиловических домов. Смешной у него язык, но вполне понятный. Они очень подружились – Карл и капитан, как говорят, «с первого взгляда». Пусть обсуждают. Меня лично вопрос «прикрытия автоматным огнем» при выходе в деревушку, не беспокоит. Немцев в ней, видимо, нет, и ничего с нами не случится. Самое трудное начнется потом, когда мы пойдем от деревушки к Смиловичам. Там уже никакие автоматы не защитят. Все будет зависеть от счастья и от нас самих. Главное, не струсить при первом препятствии и не побежать обратно. По бегущим стреляют и обычно убивают. За Карла я спокоен. Он-то готов на все. А я? Дело не в страхе. Неизвестно, как я себя буду чувствовать в случае реальной опасности. Но впереди – убийство Кубе. Настоящее, хладнокровное убийство. Ну, и что же? А Лужица? Накануне, когда Куцин показывал на карте, как выскользнуть из кольца, я спросил его, почему на месте партизанского аэродрома стоит надпись «Лужица».

Он ответил просто.

– Наоборот, Николай. Аэродром на месте Лужицы. Там была деревня. Гитлеровцы в прошлую блокаду сожгли ее начисто и угнали жителей.

Аэродром на месте деревни… А школа в Столбцах, ближнем к лагерю селе? Черная запекшаяся масса человеческих тел. Деревянные стены сгорели, а люди, загнанные в школьный зал прикладами, так и остались прижавшимися друг к другу даже после дикой смерти в огне и дыму. Я же видел все это своими глазами, а не вычитал в газете… Да, что там. Какие могут быть колебания…

Я подымаюсь и иду обратно к радиостанции. Надо скорее кончать все и двигаться в Минск. Действительно – заждалась Вильгельма Кубе могила.

Тридцать минут на исходе. Москва снова появляется в эфире. Я принимаю короткую телеграмму. Оператор передает: ««73» – лучшие пожелания», – и мы с ним прощаемся. На этот раз по-настоящему и, наверное, надолго. Моя радиостанция останется на хранение у капитана. Связь из города будет вестись через курьеров. Один из них, Маруся, уже ушла накануне в город. Куцин нашел ее в одной из деревушек вблизи партизанского района. Маруся часто бывала в Минске и имела там много знакомых. В 1943 году ей было лет 20. Хорошенькая, отчаянная по характеру, она умела благополучно проскальзывать через немецкие контроли. Маруся знала, что «немцы», которым ей предстоит помогать, – советские разведчики. В руках девушки не раз уже были жизни наших людей, и ей можно было довериться.

Одна из Марусиных подруг уехала в Киев и позволила ей жить в пустующем домике на окраине Минска. По плану Куцина, этот домик должен был послужить для нас первым пристанищем в городе.

Но до Минска надо еще добраться. Я показываю расшифрованную телеграмму Карлу. Она касается и его.

«Товарищам Волину и Виктору. Выход разрешаю. Счастливого пути. Будьте осторожны. Андрей».

«Андрей» – это Судоплатов.

Ну, вот, кажется, и все. Можно снимать комбинезоны и прощаться с охраной. Они останутся на краю леса, под деревьями. Нам с Карлом – дальше.

Радиостанция сложена и передана капитану. Еще раз повторены условия встречи при возвращении. Капитан, опустившись на колено, укладывает наши комбинезоны в вещевой мешок и шепотом рассылает своих ребят на боевые позиции. Под тенью последних деревьев мы с Карлом переводим стрелки часов с московского времени на берлинское и оглядываем друг друга. Все, кажется, в порядке. Погоны на месте, сапоги начищены, орденские ленточки, сбившиеся было под комбинезонами, приведены в порядок. Оба почему-то улыбаемся, не то смущенно, не то счастливо. Капитан дает знак, что путь свободен. Карл протягивает мне руку. Я крепко пожимаю ее, и мы одновременно выходим на освещенную солнцем тропинку.

Теперь вперед, не задерживаясь, в тень первого сарая. Оглядываться нельзя и ни к чему. Я и так знаю, что сзади, слившись с землей, одиннадцать пар глаз следят за каждым нашим движением. Вот и сарай. Можно отдохнуть секунду и осмотреться.

Следующим этапом была изба, третья с края. Мы присмотрели ее еще из леса. Наши предчувствия оправдались. В избе никого, кроме старухи и маленького пузатого мальчугана в рубашонке, не было. При виде нас старуха не испугалась и не удивилась. Едва я промолвил на своем ломаном русском языке «матка, яйки», а Карл захлопал руками, изображая курицу, как она молча вышла в сени и вернулась с пятком яиц. Мы поделили их соответственно субординации: унтер-офицеру – два, офицеру – три, – свернули большие, демонстративные кульки из разорванной пополам немецкой газеты и двинулись не спеша по центральной улице дальше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.